

Эрве Базен

Супружеская ЖИЗНЬ

«Брак — это как осажденная крепость;
те, кто внутри, хотели бы из нее
выбраться; те, кто снаружи,
хотели бы ворваться
в нее».

Эрве Базен
Супружеская жизнь

«ЭКСМО»

1966

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Базен Э.

Супружеская жизнь / Э. Базен — «Эксмо», 1966

ISBN 978-5-04-091593-4

Женщины часто называют мужчин бесчувственными, несостоятельными, инфантильными и обвиняют в неудачах в семейной жизни. Вот и Мариэтт, жена главного героя, постоянно упрекает мужа. Неужели все так однозначно: женщины – сущие ангелы, а мужчины только портят им жизнь? Эрве Базен предлагает посмотреть на брак мужскими глазами. Этот роман, уже ставший классикой, перевернул представления многих женщин о супружеских отношениях. Как знать, может, изменит и ваши?

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-04-091593-4

© Базен Э., 1966

© Эксмо, 1966

Содержание

1953	6
1954	26
1956	39
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Эрве Базен

Супружеская жизнь

Монике

Я именую словом Matrimoine все то, что в браке естественно зависит от женщины, а также все то, что в наши дни склонно обратить долю львицы в львиную долю (Он).

1953

Забавно! Кажется, именно здесь, в конце спирали из подрезанной бирючины, увенчивающей холм в Ботаническом саду, именно здесь, на скамье из бетона, окрашенной под дерево, конечной остановке любителей нежных прогулок, сошла на меня благодать и пелена спала с глаз моих. Правда, Мариэтт не утверждает, что это было так, отнюдь. Она поразительно скромна и ограничивается лишь улыбкой и тем, что склоняет голову, отягощенную чудесными воспоминаниями, на мое плечо, подбитое ватой. Ее рука, подобно таитянскому ожерелью, обвила мою шею, а пальцы, на одном из которых обручальное кольцо подпирает перстень, подаренный мной в день помолвки, поглаживают мой пиджак; с этого пиджака она как раз сегодня утром выводила пятна при помощи препарата К₂, сопровождая чистку рассуждениями о моей неряшливости. Так, значит, все произошло здесь? Осмелюсь ли я забыть? Впрочем, мужчины, как известно, не помнят ни о чем: ни о передвигающихся праздниках, ни о семейных годовщинах, постоянных торжествах домашней жизни, – самых важных датах в густой чаще всевозможных дат, неизменно присутствующих в памяти женщин, самой природой обреченных быть рабынями календаря.

– Дорогой! – шепчет Мариэтт.

Как будто бы тихо шепчет. И вместе с тем достаточно отчетливо, чтоб услышала вся наша свита. Увы! Мы не одни. Кроме самой участницы того знаменательного события, мне сопутствуют ее мать, мадам Гимарш, ее сестры, девицы Арлетт и Симона Гимарш, золовка Габриэль Гимарш, урожденная Прюдон, которые при этом вовсе не присутствовали, но, обожая слухи и пересуды, воспользовались послеобеденной прогулкой, чтоб возбудить свое пищеварение и приобщиться, как они это делают в кино, к культуре мелодрамы.

– Наверняка у вас был глупый вид. В таких случаях люди всегда выглядят глупо.

Это насмешливо изрекла мадам Гимарш. Такова уж традиция: сначала прийти в восторг, потом поиздеваться. Само собой разумеется, в этом темном уголке ее дочь не подвергалась никакому риску, тут не допускалось никаких вольностей, недозволительного порыва страстей, не так ли? Ведь за Мариэтт бдительно следили око нотариуса, мэр, викарий – ангелы-хранители семейного очага. Но давайте улыбнемся, посмеемся, пусть волна насмешек захлестнет эти несказанные сказки – они ведь тоже умиротворяют семьи. Хватит, оставим это! Я роюсь в своих карманах, звеню ключами, ищу трубку, табак, спички. Напрасные старания. Меня все еще держат за шиворот, на моем плече замирает вздох, это не сожаление, конечно, но в нем есть примесь грусти: вчера все было чудом, а завтра станет повседневной рутинной. В этом вздохе слышится: «Ну вот!»

Все остальное легче передать молчанием – это тоже язык, пусть без лексики и синтаксиса. И он не меньше, чем громкие слова, может выразить истину. Ну вот, в тот день, в том месте это и произошло, я был один – и внезапно нас стало двое. Тропинка, на которую я тогда ступил, листья, даже если они видели, как на эту тропу ступали другие, скамейка, с которой я смахнул пыль, прежде чем сесть, могут свидетельствовать обо всем, как свидетельствую об этом я. Нельзя же повсюду устанавливать памятные таблички или вырезать на березовой коре имена, как мидинетки на Севере, или же царапать на листьях агавы, как мидинетки на Юге. Но именно здесь, в этой рамке, достойной того мгновения, решилась моя судьба.

Забавно! Прошло две недели после венца, торжественного ленча и всего, что за ними последовало, а я еще, по совести говоря, не могу ничего сказать. И все же я злюсь. Заячье рагу, изготовленное мадам Гимарш, было отличным и достойным внимания блюдом, хотя бутылка «корне» урожая 1920 года несколько перестоялась. Но еще немного такой патоки, и меня стошнит. Внесем некоторую точность: не было ни заветного места, ни памятного мгновения. Как

удивились бы мамаша, сестры, золовки и даже она – моя жена, если бы какой-нибудь магнитофон, спрятанный три года назад под эту скамейку, изрыгнул все, что тут говорилось. Разве я знал, что со мной будет именно она, а не какая-нибудь другая? Во время первого свидания (а у меня их было с полсотни) разве станешь над чем-то задумываться? А то, что потом, – всего лишь продолжение или же бегство. Волнующие прикосновения, поцелуи, сначала робкие, будящие кровь, потом настойчивые, врасос; не представляю, что уж тут красноречиво свидетельствует о вечной любви. Сожалею, милые дамы. Но ваше удивление сразу бы обернулось яростью, если бы вы заглянули в мою записную книжку 1950 года. Мне приятно ее перечитывать, и недавно я перелистал ее вновь. Там есть маленькая запись от 18 апреля, за которой следует пометка, несомненно сделанная на следующий день. Наверху записано: *Повидать Густава в 13 часов по поводу мотоцикла. С Одиль в 18 часов на Эльзасской улице. В 22 часа tt с Мариэтт в Ботаническом саду*. Признаюсь откровенно, что буквами tt я в то время сокращенно обозначал tête-à-tête¹. Буквы же ee (тут уж не было никаких чудес), записанные в другом месте, обозначали corps à corps². Что касается цифр *четырнадцать – двенадцать*, то в этом нет ничего таинственного – это оценка; для Одиль с ее бойкой болтовней и неплохим опытом отметка повышалась до *пятнадцати – тринадцати*. Это означало, что у Мариэтт не было ни изюминки, ни жару, присущих Одиль. Похоже, что одной я тогда снисходительно отпустил двадцать шесть баллов, а другой в итоге насчитал двадцать восемь. Но будем до конца откровенны. В Анже, как, впрочем, и в других местах, за немногими исключениями, жен берут в своей среде, какова бы она ни была. Я решил жениться на Мариэтт потому (30 % побудительной причины), что это было единственной возможностью добиться близости с ней, а с Одиль это было необязательным. Я женился на Мариэтт потому (тут уж процент трудно установить), что в ее пользу говорила наша детская дружба, незаметно перешедшая в нежность, содержащая множество приятных воспоминаний, поцелуев, невинных ласк, привычки бегать с ней на танцы, играть, ходить в плавательный бассейн или в кино – словом, встречаться и вместе проводить время. Я выбрал Мариэтт еще и потому, что она была из «хорошей семьи», может быть не столь аристократичной, как наша семья, но несколько более состоятельной (хотя бы в последние годы). Всего этого за Одиль не числилось. Что ни говорите, а рассудок играет решающую роль еще до заказа пышной свадебной корзины с цветами, которые не позволяют все же забыть о том, что завтра в этой корзине уже будут лежать овощи. Позор тому, кто дурно об этом подумает!³ Мы живем в эру фанерованной мебели. Часто слышишь, как говорят: «Такие-то *удачно* выдали свою дочь», и скромное наречие «удачно» предполагает, что все выгоды были учтены. Теперь этим просто не хвастают – вот единственная перемена, – в наше время это недопустимо. У нас господствует сентиментальное притворство. Родителям даже рекомендуется добавить: «И знаете, они обожают друг друга!» Это уже похоже на фанеру из палисандрового дерева.

– Между нами говоря, – добавляет мой дядя, – с тех пор как налог ополчился на личные капиталы, чтобы устоять, стало еще более необходимо заключать браки в своей среде. Кстати сказать, это никогда не мешало всему остальному...

«Остальное» у нас достаточно прочно. Я люблю Мариэтт, это бесспорно. Люблю девушку своего круга. Я женился не по расчету. Ведь я мог бы взять себе в жены действительно богатую наследницу. Маргерит Тангур (Западный банк) охотно встречалась со мной. Меня неоднократно приглашали еще и к Димассам (шиферные карьеры), дочка которых совсем не урод. Но это было бы чересчур. Представляю себе, какую гримасу сделали бы мои родственники в подобном случае. Мариэтт не имела богатого приданого, только небольшую ренту, которая выплачивалась ежемесячно двадцатого числа, чтоб мы могли сводить концы с концами. Но

¹ Свидание наедине (*фр.*).

² Буквально – схватка рукопашную (*фр.*).

³ Девиз английского ордена Подвязки.

зато она принесла с собой некоторые надежды и связи (тесть считал их полезными) и необходимую в провинции общую благосклонность к молодым супругам со стороны многих людей и будущих клиентов: ведь для почтенных обывателей достойная женитьба является первым доказательством благонамеренности лица свободной профессии. Таков укоренившийся предрассудок этой среды.

Вот в чем правда. Да, Мариэтт уже моя жена. Я сделал удачный выбор. К чему окружать какими-то картонными декорациями весьма прочную реальность? Разве Гимарши не знают, что в *наших* семьях считается куда похвальнее жениться в атмосфере всеобщего уважения, чем испытать удар любовной молнии в 110 вольт, столь любезный сердцу кинодельцов. Правда, я действовал медленно. Брак есть брак, не говоря уж о том, во что он может превратиться, и многие мужчины не в состоянии решиться сразу. Я хотел дождаться окончания моего стажерства в суде. Хотел сначала заручиться клиентурой. Я не выжидал согласия своих родных, они были ни за, ни против, я не выжидал и ответа Мариэтт, но ее я заставил дожидаться моего решения.

Три года назад я мечтал жениться на Одиль, пленившей меня прелестной грудью, пылкостью в любви и беззаботной смелостью. Но она была девушка трезвого ума, без особых претензий и все повторяла нежным голосом:

– Ну зачем тебе какая-то машинистка?

Впрочем, и дядя мой был на страже. И мать. И тетка. И я сам, рассудительный, благоразумный молодой человек, весьма считался с требованиями «устроиться основательно», хотя теперь это называется как-то иначе. Одиль вышла замуж за водопроводчика. Она меня, конечно, давно уже забыла к тому времени, когда я, в двадцать шесть лет, растроганный терпением Мариэтт, отнюдь мною не заслуженным, заказал у ювелира для нее кольцо, в котором бриллиант (в 0,75 карата) все еще горит отсветами нашего пламени. Мариэтт это знает. Но нотариуса, мэра, викария ей было недостаточно. Ей надо было, чтобы я с ней переспал, совершил, так сказать, четвертое таинство, которое на языке «почти Амура» подтверждает все предыдущие акты.

Пока я размышлял (молчание мое принимали за признак волнения), позади нас говорили.

– Ну уж если б я знала, – сказала мадам Гимарш, – если бы я только знала в тот вечер, что ты бегаешь сюда, тебе бы пришлось иметь дело со мной, детка! Но не в обиду вам будь сказано, Абель, в те времена у вас была солидная репутация.

Солидная – это не так уж огорчительно. Бронзовый петушок на соседней колокольне четко вырисовывается в сумерках. Теща опять кудахчет:

– Это ты, Гуссен?

– Я, мамочка! – отвечает ей низкий голос.

Тесть грузно, как носорог, продвигается к нам, останавливается, чтоб отдышаться, и говорит, стоя за кустарником:

– Ох уж этот твой заяц! Сначала самым глупым образом дал себя убить, а став покойником, начал сопротивляться!

Вот и тесть. Он идет по вьющейся тропинке. Поглаживает рукой живот, в котором бунтует заячье жаркое. Он появляется первым, а за ним среди мелкой поросли вспыхивают на двух уровнях – один выше, другой ниже – огоньки сигарет отставших ходоков: это мой долговязый шурин Эрик и низкорослый дядя Шарль, которого все зовут Тио.

– Чем это вы тут занимаетесь? – продолжает мосье Гимарш.

– Осматриваем ту самую скамейку, – отвечает мадам Гимарш, окидывая нас материнским взглядом.

Мосье Гимарш не понимает, о чем идет речь. Мадам Гимарш пытается объяснить, но, чтоб рассказать все толково, как ей хочется, ей требуется столько же времени, сколько нужно, чтобы написать целый том. Ее интересует прошлое, но о зайце она тоже не забывает, ибо это

ставит под сомнение ее кулинарные таланты. Теща старается изложить самое главное, но кончает тем, что говорит обо всем сразу:

– Возвращусь к тому, что я сказала: больше всего меня удивляет, как вы оба спелись. Признайтесь, сумели улестить Мариэтт, а? Ну и роман! А тебя, мой толстяк, я предупреждала – не забывай о своей печени, не увлекайся соусом.

– Думаешь, дело в соусе? А что же это за скамейка? – бормочет мосье Гимарш, память которого в состоянии удержать лишь застольные радости.

Мадам Гимарш разводит руками, и в этот момент слышится чей-то тихий смешок:

– Извините меня, но я посижу на вашей скамейке.

Это наконец дядя Тио пришел мне на помощь. Уши моего крестного – единственная часть его тела, свободно парящая в пространстве, – никогда еще до такой степени не походила на две ручки корзины. Позволив себе сострить, он с интересом оглядел весь клан. Тесть стоит в центре, как и подобает патриархам. Эрик позади Габриэль, она выдвинула вперед подбородок, чтоб лучше слышать. Мариэтт, оставившая в покое мою шею, обняла свою мать. Арлетт находится на правом фланге, я – на левом, рядом с Симоной, озорной девчонкой, коварно засунувшей мне под манжету колючий репей. Тут все Гимарши, кроме еще одной дочери, Рен, и ее мужа Жоржа д'Эйян, которым было нелегко выбраться, так как они живут в Париже. Собралось все семейство, чтоб отпраздновать возвращение молодой четы. Сборище безусловно достойно быть немедленно увековеченным на пленке! Но, слава богу, Арлетт, специалистка по семейным фотографиям, с сожалением признается, что забыла взять фотоаппарат. Вдруг тесть заметно оживляется.

– Ах! – восклицает он. – Скамейка, да-да, помню! Эрик и Габриэль...

– Господи, до чего же у мужчин куриная память! – возмущается теща.

– Разве ты не помнишь, что Эрик привез Габриэль из Каора? – лукаво говорит Симона.

Мадам Гимарш смотрит на нее с мягкой укоризной. Это не столь уж невинное воспоминание, чтоб оно могло подойти к данному моменту. Далее она сообщает своему супругу, что речь идет совсем не о семье старшего сына, а о молодоженах, о младшей дочери, которой, чтобы перешагнуть от этой скамьи к скамье в церкви Святого Мориса, пришлось томиться ожиданием больше трех лет.

– Ну хорошо, – заключает мосье Гимарш своим архиепископским голосом, – ты же их поженила, это главное.

– Да, – сказала мадам Гимарш, – все хорошо, что хорошо кончается... Пойдем обратно. Я дам тебе выпить сельтерской воды.

И вот все они ушли гуськом по узкой тропинке.

Ботанический сад покинут. Близится ночь. У фонарного столба печально подняла лапку желтая собака. Тио и я, из клана Бретодо, задержались еще на миг.

– Вовремя я пришел, а? – говорит Тио. – Ты было совсем потонул в сиропе.

Он свистит. Я знаю, он считает, что я заслужил лучшего. В нашей семье нет привычки предаваться восторгам после заключения брачного контракта. Не такие уж у нас чувствительные сердца. Он прав и в то же время не прав: сейчас не время напоминать мне об этом. Но он, к несчастью, продолжает:

– Отныне твоя жена вошла в семью Бретодо. Не будем злословить, но она от этого выигрывает. Только не допускайте больше подобных нашествий.

Он по-военному печатает шаг на асфальтовой дорожке. Идет такой прямой, вытянув шею, словно изо всех сил стремится стать выше. Так он выглядел обычно, когда командовал своими подчиненными. Мне трудно за ним поспевать. Метров через пятьдесят он останавливается, оборачивается ко мне, недоумевают:

– Ты слышал, что она сказала, эта матушка Гимарш? *Все, мол, хорошо, что хорошо кончается.* Ты считаешь себя конченным, а? Меня-то, наоборот, поучали, что свадьба – это начало, и, увы, не только приятных забав, но и некоторых неприятностей.

Он продолжает путь. Собака бежит за ним, обнюхивая невидимые следы. Меж молочными шарами фонарей засветилась луна. Проходит какая-то машина. Потом, тесно обнявшись, идет слишком юная парочка, взасос целуясь на ходу.

– Между прочим, слушай, судейский крючок! У меня есть для тебя клиентка! Помнишь Агнес, мою молоденькую соседку, которая три года назад вышла замуж за сына Сероля? Ее муженек удрал. Вчера утром я повстречал Агнес у нашей консьержки. Она сказала, что хочет взять адвоката...

– И ты подсказал ей мою фамилию?

– Не мог же я послать ее к кому-нибудь другому!

Ладно. Но сейчас не время адвокатской тоги. Пробил час ночной рубашки. Пора добывать нашу женушку и отправляться с нею в постель. Мы медленно подходим к магазину наших новых родственников. Мариэтт, конечно, все еще откровенничает со своими, и у подъезда ее нет. Во втором этаже виден свет, и за прозрачными занавесками движутся знакомые силуэты. Внизу витрина магазина погружена в темноту: едва заметны выставленные в ней товары – шерстяные, пушистые, шелковистые сокровища. Вспыхивающая неоновая вывеска, светящаяся всю ночь, мигает, гаснет, зажигается, неумоимо повторяя проходим улицы Лис, что

У АНЖЕВЕНКИ

Коей благою весть

Архангел Гавриил

Изволил принести

Все для женщин и младенцев есть

Мариэтт рассказывала родным о своем блаженстве, не касаясь, конечно, наиболее интимных его сторон, которые все еще считаются неподходящими для откровенных бесед даже при разговоре дочери с матерью (можно только удивляться почему: ведь это более естественно и гораздо важнее, чем описание берегов Корсики). Надо признаться, у меня на этот счет совесть не так уж чиста. Сверхцеломудрие семьи Гимаршей мне на руку. Как бы то ни было, но Мариэтт, возбужденная своим разговором с матерью, почти бежала, ног под собой не чуя, с улицы Лис на улицу Тампль – скачи, газель!

И вот теперь она у меня... Я хочу сказать – у нас, в этом доме, где прожили шесть поколений Бретодо; до сих пор Мариэтт здесь была как гостья, вежливая и робкая, которая со временем может стать тут хозяйкой. Руки ее тогда еще немели от волнения, взгляд ничего не касался, уста и не пытались высказать свое мнение об использовании той или другой комнаты. И вот эти руки начали внезапно жестикулировать, глаза внимательно оглядывать все кругом, и она нашла нужным предложить множество планов переустройства.

– Здесь так темно, мой дорогой!

Мы вихрем закружились по комнатам (очень плохо освещенным, я в этом сам убедился, увидев экономичные лампочки в 25 ватт), обозревая на ходу это внезапно доставшееся нам владение сверху донизу, с чердака до подвала. И я тотчас сообразил, что семейная недвижимость не останется полностью недвижимой.

– А гостиную я соединю со столовой!

Я не возразил. Только подумал о том, послышалось ли мне это самоуверенное «я соединю» или я ошибся и она деликатно сказала «я соединила бы», как бы советуясь со мной. Но мы уже были в ванной комнате.

– Ванная еще безобразнее, чем кухня, – заметила Мариэтт.

Вернувшись в спальню, она сбросила на пол туфельки; села на край кровати, приподняла юбку – отстегнуть подвязки. Я колебался. Комната, в которой моя мать расхаживала в строгого покроя домашнем платье, побуждала меня к сдержанности, где-то в глубине моего существа жил весьма пристойный молодой человек.

– Подумай, Абель, как раз прошло две недели, – сказала Мариэтт.

Две недели! На пути к золотой свадьбе это весьма мелкая дата, но, разумеется, ее праздновать куда легче, чем пятидесятилетний юбилей! Вот и чулки отброшены. А с ними моя скромность тоже. Руки мои начали действовать. Долой «молнию» от шеи до поясницы. Долой застежку лифчика. Вот и не осталось ничего, кроме нейлона, разбросанного вокруг...

– Абель!

Это единственный миг, когда мое имя перестает казаться смешным. В первую ночь в гостинице этот крик был вызван взломом, поспешным и неловким. На этот раз все иначе. *Чего уж хорошего ждать от плоти!* – говорил этот глупец святой Павел. О нет, сударь! На этот счет вам стоит проконсультироваться у святого Петра, он осведомлен лучше: он вам рассказал бы об удовлетворении, которое испытал, создавая Петрониилу. Юная плоть, которой вы обладаете и не можете насытиться, вызывает у вас признательность, чувство это возносит вас высоко и вдруг становится чем-то священным.

Да, в этот вечер все прошло отлично, удалось на славу и мне и ей. Впервые моя девчонка действовала со мной заодно, впервые была свободна от страшной скованности, которую внушало ей ее тело. До сих пор в своем одиночестве я отнюдь не испытывал гордости, чувствуя, что мне идут навстречу. Ну ясно же, и мне не чуждо некоторое пуританство, свойственное нашей провинции. Когда меня слишком уж приободряют, я способен даже сожалеть о неразделенности. Я терпеть не могу, когда мои приятели бахвалятся своими мужскими талантами, неутомимостью. Мне по душе неловкость, даже когда мне уступают, в этом есть своя прелесть. Но радость партнерши всегда трогает. Мой дедушка в форме офицера спагí, моя бабушка в платье с кокеткой и высоким воротом, мой отец, при параде, со своим военным крестом, – все эти фотографии, прикрепленные на каких-то скверных обоях с фестончиками (мама их ни разу еще не сменила), да и моя фотография, этот маленький невинный Абель в предназначенном для младенца положении, лежа на животике, наблюдали за моими успехами, которые они не стали бы осуждать. Но вот Мариэтт перевела дух и искренне удивилась:

– Да что это с тобой нынче?

У меня есть жена. Да и пора уже: до сих пор была лишь невеста. Не так-то просто вести себя просто в постели с девицей, польщенной вашим пылом, не совсем, однако, его разделяющей; заметно, что ее податливость слегка преувеличенна, что она прячет свое изумление, не обретая земли обетованной, что втайне она думает, чья тут вина, ее или ваша, или же считает совершившееся перехваленным сверх всякой меры, как и сама любовь в романах. Откуда же взять женщине эту выдержку пациентки, эту покорность в подобных случаях? Помнится, когда мне было одиннадцать лет, я неожиданно спросил у матери:

– Мама, а что такое супружеский долг?

В течение этих двух недель я вновь задавался этим вопросом. Бедная моя Мариэтт, она выполнила супружеский долг. Надо было совершить все, что полагается согласно брачному контракту. Кроме того, и бедный Абель заждался: ведь с помолвки прошло несколько месяцев. Она и не подозревала о затруднительном положении Абея. С новенькой обращаются иначе, чем со стреляным воробьем. Вступление, подготовка, ловкие приемы часто кажутся слишком профессиональными и недостойными той жертвы, которую приносит невинная девушка. И тогда – бац! – взламывают дверь и ведут себя с девственницей, как с торопящейся проституткой. К тому же нельзя сказать, чтоб мне повезло. Мне досталась одна из упорных, почти непобедимых девственниц. Конечно, это было лестно для меня. Тио, я думаю, из осторожности

– ведь с девицами никогда нельзя быть полностью уверенным – держал передо мной весьма оптимистические речи.

– Три девицы из десяти, – выпевал он, – вступают в брак, уже вкусив запретный плод; пять увлекались гимнастикой не меньше, чем ты; и только две не знают «большого шпагата».

Мариэтт принадлежала к этому меньшинству, тут мне не приходилось жаловаться. Как ни стараешься быть снисходительным, современным, допускать, что и женский пол имеет право на вольности, которые ты разрешаешь себе, все это напрасно. То, что ты первый, как-никак ободряет, если уж нельзя надеяться, что будешь последним. Наша брачная ночь была сущей бойней, способной вызвать отвращение взамен удовольствия и навсегда разочаровать партнершу.

Для большего удобства мы, разумеется, отправились в отель. Что за трогательная традиция проводить свою *брачную ночь* в отеле, как при случайной связи, на промежуточном пункте вашего маршрута во время свадебного путешествия! Вы уже невероятно устали, в пыли, ваши дорожные костюмы смялись, но вы счастливы, что удалось достать в отеле комнату, пусть даже без ванной, раз не догадались заранее заказать номер. Сначала вам предлагают заполнить учетный листок; один листок, а не два, как будто хотят соблюсти приличия и умолчать о ваших похождениях. Затем просят уточнить в присутствии молодой девушки, вашей спутницы, следующее:

– Нет, не две кровати, а одну, двуспальную.

В номере вам прежде всего бросается в глаза великолепное белое биде. Вы быстро задергиваете занавес из пластика, чтоб укрыть уголок для омовений, но кран начинает рычать. Раздеваетесь вы, как на приеме у врача, прямо перед этой постелью с простынями, пахнущими жавелевой водой, на которых столько проезжих распластывали своих спутниц. Загнанные в эту враждебную вам комнату, вы стыдитесь своих ляжек, покрывшихся, как от озноба, гусиной кожей. Вы наскоро целуетесь, дыша в рот друг другу, как будто тренируетесь в спасении утопающих. Но молодость выручает, и вот вы уже полны пыла и нетерпения. Падает все, что должно упасть, обнажая то необходимое, что все же предпочтительнее было бы в данной ситуации не выставлять напоказ. Право, пристойнее было бы погасить свет. Но вы не знаете, где здесь выключатель; вам неприятно вызывать горничную, ее вторжение нежелательно. И я еще не упоминаю об опасениях оставить пятно или о том, что кровать скрипит... Нет, в отеле все отвратительно! Так же, как и двусмысленные улыбки на перроне, пожелания на ушко, призывы к плодовитости или же советы следовать наставлениям святого Мальтуса, – все эти рекомендации доброжелательных тетюшек и друзей, которые «в выражениях не стесняются».

Слава богу, испытание закончено. В конце концов, я вернулся к себе домой, и у меня есть жена.

Она распускает свои волосы и выступает из них нагая. Я вновь думаю о том, что мне надо было бы оторваться от нее вовремя или хотя бы спросить у нее, могу ли я этого не делать. И с Одиль так бывало. Я предоставлял ей самой выпутываться, довольный тем, что она способна это сделать, и, может, несколько менее довольный тем, что она это умеет. Но, по крайней мере, я не боялся говорить об этом, уточнять даты наших свиданий, полагаясь на то, что она соблюдает осторожность. С Мариэтт же меня что-то сковывало: ее подвенечная фата, торжественный свадебный обряд, венчание в церкви; сама женитьба, невольная мысль о конечной цели этой церемонии, в ритуал которой входит и тот момент, когда супругу кладешь на обе лопатки, что требует вначале гораздо большей осмотрительности, чем обращение с обычной подружкой. Вместе с тем жена – подруга повседневная, стало быть, больше опасности попасть впромак. И для того, кто намеревается прежде всего как-то устроиться в своем новом положении, обеспечить себя материально, для того, кто не хочет предоставлять рождение ребенка случаю, необходимо с первой же ночи, с первого объятия... Да что я говорю? Нет, еще у порога сгово-

риться, как вести себя. Если вам это не удалось сразу же, то через день легче не станет. А как решали этот вопрос наши деды и наши бабушки, мудро лимитировавшие число своих будущих наследников? Я не представляю себе, как бы я сказал Мариэтт, сбрасывающей свой свадебный наряд: «Что же, дорогая, к какому средству мы прибегнем? Если ты вообще не хочешь ничем пользоваться, скажи мне хотя бы даты своего женского календаря. Что? Сегодня не подходит, надо выждать еще недельку? Ну ладно. Обождем, перенесем нашу брачную ночь на среду той недели, раз тогда ты наверняка будешь в безопасности».

А ведь так поступить немислимо, правда? Единственное, что остается, – вовремя отступить. Но в глазах девицы, которая только что перестала быть таковой, возня с полотенцами отнюдь не выигрышна. Ведь ты как бы даешь понять даме, что и она запятнана, что «любовный эликсир», как и чай, чрезвычайно быстро вызывает реакцию. Молча думаешь: «Ведь это же ее касается, в конце концов». И еще: «В конце концов, у нас ведь нет ребенка, немного раньше, немного позже...» К этому еще примешивается лень. Да и этот шалун, вволю нарезвившись, любит понежиться в теплом гнездышке, а жена нежится, уткнувшись носом в вашу шею. И кроме всего прочего проклятая интеллигентность – язык не поворачивается сказать то, что нужно, и слова даются труднее, чем жесты. Я чувствую себя немного виноватым, и это, наверное, заметно.

– А ты думаешь, – говорит Мариэтт, – мы так не попадемся? Может, надо бы...

Она говорит «может, надо бы» с ленцой. Не знаю, что пересилит: желание подождать или все предоставить природе.

– Конечно, надо бы! – отвечает супруг.

Вот и все. Больше я ей об этом ничего не скажу, не способен входить в детали, как это со спокойной совестью делают скандинавы, просвещая юных девушек. Я даже думаю: придет время, и пожалуй скорее, чем нужно, когда наши отношения утратят свой лирический характер и мы сможем говорить обо всем этом с непринужденностью фармацевтов. На глаза Мариэтт опускается плотная ограда ресниц. Ей тоже ни на чем не хочется настаивать. Не пришлось ей, как моей и ее матери, воспитываться в монастыре в страхе божьем перед точными сведениями о нашей немощной плоти, в презрении к этой плоти, которая принуждала саму Мадонну, избежавшую мужских объятий, терпеть ежемесячное унижение. Но анжевенское благоразумие отличается цепкостью.

– Я спрошу у Рен, – говорит Мариэтт вполголоса. – Стать такой, как Габриэль, немислимо. Три ребенка за три года...

Спросит ли она? Сомневаюсь. Несчастный случай мог бы для нее стать лишь нечаянной радостью. Она улыбается, потому что я смотрю на нее. Вся проблема куда-то вдруг испарилась. Она прекрасна. Впрочем, нет, гораздо больше, чем прекрасна. Все еще нагая, она словно бы забыла об этом, в свете ночника она блистает своей молодостью среди этих смятых простыней. Быть может, ее налитые груди с коричневыми, чуть шероховатыми сосками немного полней, чем следует. Лодыжки и запястья несколько широковаты. Да и шея не такая тонкая, как на средневековых гравюрах. Волосы рассыпались по круглым плечам. Глаза, губы, подмышки, пах – все блещет дарами юности. Гибкие суставы, чистота линий... А чудесная кожа! Гладкая, свежая, трепещущая, украшенная черной родинкой у шеи, и этот умильный пупок в форме раковинки... Я еще ничего не сказал о ногах, которые она сейчас сомкнула, гибких, гладких до самых розовых пальчиков.

– Ну, ты закончил опись? – говорит Мариэтт, натягивая на себя уголок одеяла. Она чуть поднимается на подушке, устраивается поудобнее и, в свою очередь, начинает разглядывать меня. Глаза ее полны невольного удивления. Нагая женщина подобна мраморной статуе. Нагому мужчине не подходит такое сравнение. Статуе хоть фиговый листок помогает прикрыть гроздь винограда. А если в мужчине вдруг возродится сила, он уж и не знает, как это скрыть.

В таком положении взгляд женщины действует, как кастрация. Я тяну к себе другой конец одеяла.

– Ах ты, мой бизон! – шепчет Мариэтт. Целует меня и добавляет: – Ну до чего это уродливо!

Я уже начинаю привыкать к тому, что мне приходится расшифровывать ее недомолвки и уклончивые выражения. Речь идет вовсе не о моей особе. Мариэтт оглядывает мебель великолепного стиля рококо, который антиквары пока еще не решились снова ввести в моду. Шкаф – просто шедевр этого стиля, с волнистыми линиями, множеством завитков, листьев и резных цветов, таинственных, неизвестных природе видов. Но голубые глаза вдруг закрылись густыми ресницами, потом она глядит на меня и шепчет:

– Я вот что думаю – стоит ли нам все это сохранять?

Этот вопрос уже возникал перед нашей свадьбой и остался нерешенным, дабы не огорчать мою маму, которая, оставив себе «комнатушку» как временное городское пристанище, отдала мне весь дом со всем его содержимым. Естественно, что ее сын и ответил, как следовало ответить сыну:

– А я вот что думаю – ты это прекрасно знаешь, – как мы можем не сохранить всего этого?

– Но ведь хибара-то твоя, – живо возразила Мариэтт. – Ведь она тебе от отца досталась, верно?

«Хибара» – это особняк из пяти комнат, счастливо уцелевший во время бомбежки квартала, – действительно была имуществом моего отца, стало быть, и моей матери тоже. Сейчас дом принадлежит мне, значит, и моей жене, хотя наш брачный контракт оговаривает отдельное владение имуществом. И этот пункт делает меня одного законным хозяином. Каждый, однако, имеет право высказать свое мнение, бесспорно. Ну ладно, там видно будет. Чтобы не портить себе этот час, лучше было бы на этом и остановиться. Но Мариэтт уже не удержишь:

– Во всяком случае, надо сменить систему отопления. Топить углем? Можешь себе представить, на что я буду похожа. Надо мазутом пользоваться. Что касается обоев...

Тут она замолкает, ее порыв сдерживает жест собственного ее казначея, который многозначительно потирает указательным и большим пальцами. Новый котел, инжектор, бак для мазута, специальный дымоход, а кроме того, земляные работы, укладка и пригонка – на все это потребуется не меньше миллиона франков. А их нет.

– А что, если занять? – нерешительно лепечет Мариэтт.

– У кого?

Она хмурится:

– Мама мне говорила, что есть фирмы, которые, заключая договор на поставки материалов, могут предоставить восемьдесят процентов кредита.

Супружеский пыл немного спал, она хватается свою пижаму, ныряет в нее, позевывает и в заключение говорит:

– Так или иначе надо все осовременить. Ну, давай спать, уже поздно. Сейчас не меньше двух часов ночи.

Длительное молчание. Она укладывается поудобнее, взбивает подушку и поворачивается на левый бок, мгновенно опускаются веки без единой морщинки, опущенные длинными, красиво загнутыми ресницами, умело оттененными тушью. Я ложусь на правый бок. Зачем же ей обо всем советоваться со своей матерью? Она вошла теперь в семью Бретодо. Она больше не принадлежит к семейству Гимаршей. Если поразмыслить, это совсем как обед в честь нашего возвращения из свадебного путешествия: ну почему мы отправились на улицу Лис, а не в поместье «Ла-Руссель», где живет моя мать? Моя рука под простыней ищет другую руку, находит, тихонько сжимает ее. Но Мариэтт уже спит.

Она спокойно спит, а я лежу с закрытыми глазами, мучаюсь бессонницей.

Женитьба меня долго отпугивала тем, что она приводит к *diminutio capitis*⁴, на которую меня теперь толкают. Я был воспитан вдовой и знал, что женское господство черпает свою силу в самой своей природе. Оно берет нежностью, теплотой расслабляет вас, изолирует от мира, обволакивает шерстяными фуфайками и поцелуями. Уже наши отцы держались с трудом, хотя у них имелись привилегии. Каково же держаться нам, при наших равноправных голубках? С тех пор как мои приятели переженились, они в большинстве своем исчезли из виду, словно их сослали, заперли в границах семьи. Они сохранили свои прежние фамилии, даже наградили ими своих жен, но у меня нет ощущения, что эти женщины вошли в их семью. Скорей уж можно предположить обратное. Это стало почти правилом, если клан, к которому принадлежали жены, более многочислен, живуч и могуществен, чем семья, из которой вышли мужья...

Вот нас, например, осталось всего трое, нас, Бретодо, далеких потомков известного рода – тому свидетельство имя Бретодо, – прибрежных жителей, «искусных охотников на водяных птиц». Да, теперь нас всего трое. В девятнадцатом веке семья Бретодо долго была влиятельной, она стала питомником судейских чиновников. Этот род, владевший поместьем «Ла-Дагеньер» на острове Сен-Мартен, состоял из пяти-шести ответвлений и признавал своей центральной резиденцией вот этот дом, построенный из боальского туфа, где на медной дощечке, прибитой к двери усилиями одного из потомков, засверкало имя Бретодо. Но как только Бретодо разбогатели, они стали ограничивать число своих наследников, да и ряды тех, что были, сильно поредели после двух войн, поглотивших к тому же их богатство. У меня нет двоюродных братьев. Сестра умерла в раннем детстве. Отец, налоговый инспектор, погиб в автомобильной катастрофе. Ему не было еще и сорока восьми лет. В пятнадцать лет я стал сиротой. Накануне моей женитьбы мама покинула Анже, чтоб предоставить мне полную свободу. Она, правда, сказала, что время от времени будет наезжать сюда и потому оставляет за собой комнату. Но на самом деле она удалилась в «Ла-Руссель», вблизи Белль-Ну. Там в небольшом поместье, принадлежавшем Офреям (семейство крупных цветоводов, поселившееся в этом плодородном районе между Луарой и Отьоном и основавшее фирму по продаже цветочных семян), где ей была выделена ее доля отцовского наследства, мама начала заниматься цветоводством вместе с тетей Генриэттой, ее сестрой-близнецом, которая до этого времени управляла всем поместьем. В нашем племени, кроме меня, есть еще один мужчина: это Тио, сиречь Шарль Бретодо, старший брат моего отца. Полковник в отставке. Наша опора, прямо дуб, только невысокого роста – метр шестьдесят два сантиметра. Любит пошутить, но звучат его шутки полусмешно, полусерьезно. Он частенько говорит:

– А я холостяк, беспечен, как птица небесная!

Нет, он отнюдь не женоненавистник, наоборот, даже слишком хорошо чувствует себя в дамском обществе, всегда предупредителен, полон устарелой галантности, которая иной раз идет вразрез с его хитростями. Дядюшка Тио – мой крестный.

– Крестный отец по чистой случайности, – заверяет он.

На самом же деле он весьма заботливый родственник, субсидировал мое учение, я жил у него три года, пока добился степени лиценциата прав в городе Ренн, где дядя Тио завершал свою карьеру в «бумагомаранье военного округа». Роль наставника ему нравилась, хоть он и называл себя старым хрычом. Я отношусь к Тио как сын: мне приятно думать, что его холостяцкое житье было оправдано заботами обо мне.

Итак, нас всего трое, и больше родни никакой нет. Трое Бретодо против Гимаршей. Трое – это немного, и я особенно остро это чувствую теперь, когда возле меня нет матери и мне не хватает ее великодушной простоты, сдержанного достоинства и свойственной ей способности смущать своим молчанием менее воспитанных людей.

⁴ Постепенная капитуляция (*лат.*).

Чуть было не сказал – людей менее порядочных. Но будем сдержанны. Все это лишь чрезмерные претензии. Если ты стал зятем, веди себя осторожно, тебе могут сразу же напомнить, что ты выбирал сам, что у каждого в личной жизни как раз то правительство, которого он заслуживает. Гимарши есть Гимарши, их много, они друг другу преданы, что само по себе совсем неплохо; крикливы и вспыльчивы, как куры, круглы, как шары, да еще забавно бахвалятся своим бретонским родовым именем (Гимарш – это значит *достойный владеть конем*). И все это заставляет их строго придерживаться своих мелких принципов, эти принципы – их конек. При этом они знают счет деньгам и ценят блага, которые поэтому и доступны; дела есть дела, и если им сопутствует удача, да будет прославлен бог от чердаков до погребов. Хитростью они не обижены, но тонкости им не хватает. А в общем, это все люди довольно спокойные, которых радуют их небольшие удачи, приводит в волнение необходимость отправиться куда-то на поезде, оплатить какой-то счет, принять слабительное. Но все же они считают, что мир в конечном счете вполне терпим, можно устроиться в нем комфортабельно и даже пососать карамельку, когда твоего ближнего ведут на казнь.

Вот я тут их описываю, но на душе у меня тревожно, когда я перелистываю это «досье». Прародитель, иначе говоря, глава рода, мой тесть, зовется Туссен, ибо он родился в День всех святых. Этот толстяк, ростом метр восемьдесят сантиметров, – фигура отнюдь не мрачная, несмотря на замогильный бас. Мускулатура борца вряд ли идет ему на пользу: чтоб ловить рыбу удочкой, она, пожалуй, не нужна. Говоря откровенно, всегда кажется, что он сам себе в тягость. Собственная туша, которую он осторожно размещает в кресле, обременяет его. Едва он утрясется и сядет, мадам Гимарш восклицает:

– Как ты устал, весь в поту! А собственно, отчего? Все впустую.

Это несправедливо. Если она умеет подороже сбыть, то и он тоже неплохо делает все закупки. Никогда не опаздывает с оплатой векселей, не занимается сомнительными сделками. Во время войны он ухитрился сберечь свое охотничье ружье, не сдавал медные инструменты и золото и, хотя ему пришлось *вести кое-какие дела на черном рынке*, сумел сохранить приличную репутацию. Его любят: он человек услужливый и может дать неплохой совет. Имеет вес и в торговой палате. Все городские торговцы, выбирающие патенты, находят в нем свои собственные добродетели и посмеиваются над его забавными изречениями. Как бы там ни было, он вполне разумный наследник. И однажды у могилы – не помню уж, какой именно из своих тетюшек, – он доверительно сказал жене:

– Ее давно уж нет, но если б она поглядела сверху, во что я превратил ее небольшое состояние, то наверняка осталась бы довольна – ведь я его удвоил.

Не правда ли, честный человек? Он уверен, что имеет право продать за сто франков то, что сам купил за тридцать. Однако вне магазина он даже булавки у вас не возьмет. Я, например, слышал о таком случае. Однажды, пообедав в ресторане и уже расплатившись по счету, мосье Гимарш выехал из города и, проделав почти пятнадцать километров, вспомнил, что официант забыл получить с него за бутылку бордо; он тотчас повернул назад и уплатил за свою бутылку (но так никогда и не узнал, что его поступок послужил причиной увольнения официанта).

Этого милейшего толстяка, торговца трикотажем, конечно, погубит чревоугодие: когда обжорство вцепится в этакую машину, беды не миновать, и вот она близится – в нем уже сто килограммов. Избытком интеллекта он не страдает. Можно восхищаться безмятежной близорукостью, которую мосье Гимарш противопоставляет тому, что он называет «мудрствованием». Восхитительны и его политические убеждения, чрезвычайно центристские, особенно если центр сворачивает вправо. Приятно наблюдать, как много доброты в этом тяжеловесе, как он умиленно лепечет:

– Это ты для своего дедуси приготовила, моя мусенька?

Рядом с ним восседает коротышка, вид у нее важный, лицо светится таким же просто-душием, волосы очень черные, хорошо выкрашенные краской «Ореаль» – это и есть мадам Гимарш, урожденная Мари Мозе, из известной в городе фирмы «Мозе, Ламастер и К^о», они торгуют лесом (нет, конечно, не поленьями на растопку, а толстыми бревнами с корой, теми, что идут на экспорт-импорт, – это уже высшая категория в лесной торговле).

Конечно, для меня она станет опорой. Мадам Гимарш – личность организованная, у нее всегда найдется то, что вам нужно: полезная мысль, помощь, советы, конфеты, бечевка, рецепты и даже суждения, но эти последние редко бывают слишком смелыми.

– Я полагаю, что в моем положении следует взвешивать, что говорить.

Она мать, она бабушка, безгранично преданная, всегда готовая чем-то услужить. Притом эта милейшая дама совсем не глупа: обведет вокруг пальца любого хитреца. У нее природная смекалка, которая расцветает в лучах неоновой рекламы. Материнство и торговля слились для нее в единое целое. Мадам Гимарш торгует приданным для новорожденных и детскими трикотажными вещами. В своем магазине, среди детей и женщин, она всегда в форме. Мадам зарабатывает на хлеб с маслом и вместе с тем обеспечивает себе независимость, но в то же время успевает за всем следить, обо всем узнать, вовремя обнаружить что следует и готова в любой момент, подхватив юбку, прибежать на второй этаж, где в духовке жарится индюшка. Дама поразительной энергии! Когда ее с этим поздравляют и восторгаются, она, чуть покачивая головой, говорит:

– Что вы! Ведь у меня столько хлопот!

И правда, хлопот у мадам Гимарш достаточно. Хлопот великое множество, хотя у нее есть и служанка, и мойщик витрин, и муж. Гораздо легче объяснить ее кипучую деятельность тем, что заботы доставляют ей отраду. Думаете, она по воскресеньям и понедельникам позволяет себе поспать подольше? О нет, мадам Гимарш проверяет счета, обновляет витрины в лавке или же мчится в Монжан, где у Гимаршей есть имение: узнать, не погибли ли яблони. Или же съездит на Вокзальную улицу в «Сто мотков шерсти», во второй свой магазин, где у нее есть управляющий; либо спешит к невестке, чтоб помочь ей, схватит бутылочку с молоком для малыша или возьмет метелку подмести пол – делает все, что придется.

– У этой женщины, – говорит Тио, – никогда не хватало мужества побездельничать.

У четы Гимаршей пятеро детей. Сейчас, четверть века спустя, трудно представить себе, глядя на этого увальня, что за ним водились шалости, что ему мы были обязаны и шестым отпрыском, появившимся во время военной службы мосье Гимарша в Индокитае. «Он теперь вьетнамец», – говорит Мариэтт, как будто независимость ее сводного брата, рожденного покорной анамиткой, могла создать непреодолимый барьер между нею и этим метисом, хотя он был признан своим отцом, благополучно здравствует и, женившись, положил начало роду Гимаршей в Долине Камышей. Но поговорим сейчас о законнорожденных...

Эрик, старший, вначале воплощал все надежды семьи. Его называли Эрик III в память о предках: Эрике I, эмигрировавшем из Бретани в Анжу в 1850 году, и Эрике II, деде, основателе магазина трикотажных товаров. Туссен Гимарш мечтал вовсе не о том, чтоб Эрик поднялся от торговца до фабриканта, как хотела его мать. Здравый смысл подсказал папаше, что у юноши нет соответствующих способностей, что он слишком вял, чтобы привлечь клиентов. Отец предпочел бы, чтоб сын занялся фармацевтикой. Аптекарь должен иметь диплом, но ему не надо, как врачу, бегать ночью по срочным вызовам. Аптекарь выбирает патент и, значит, является коммерсантом, на жизнь зарабатывает именно своей торговлей, и ему не приходится обновлять свой ассортимент, уговаривать покупателей брать тот или иной товар, он избавлен от таких хлопот: люди теперь сами заботятся о своем здоровье.

Но Эрик увлекался лишь мотоциклами. Ему для начала подарили «дуглас-500», но он завалил экзамены на аттестат зрелости не раз и не два, а даже три раза. Прощай, аптека! Уязв-

ленный Туссен Гимарш пристроил его в контору Западного кредитного банка. Эрик и до сих пор там корпит. Точнее говоря, он туда вернулся после военной службы, которую отбывал в Каоре – на родине своей жены Габриэль.

Эрик – длинный, худощавый парень с круглой головой; из двух дырочек, как будто прогрызенных в его физиономии яблочным червем, смотрят маленькие глазки. Он в полном подчинении у жены. Весьма плодовит. Мартина, Алина, Катрин... Число Гимаршей все увеличивается, но пока появляются только девочки.

Вслед за Эриком у Туссена и его супруги родилась девочка, как раз та самая, которая привела за собой в мой дом всех своих родных, но, может быть, впоследствии она так же, как и моя мать, в девичестве Офрей, покажется мне настоящей Бретодо. Впрочем, в моих глазах она еще надолго останется прежней Мариэтт. Вон идет та девчонка, школьница, помахивая своим тяжелым портфелем; она в плиссированной юбочке, которую ветерок поднимает, так что видны белые штанишки, бежит она резвой рысцей, вдруг ее останавливает классный наставник.

– Что вы так торопитесь, Мариэтт Гимарш?

Эту юную девственницу с распущенными волосами, худенькую, с длинными ножками – круглым в ней было только ее фарфоровое личико – преследуют старшеклассники в узких брючках, стреляют в нее из водяного пистолета.

– Тебя надо сбрызнуть, Мариэтт Гимарш!

Но три года спустя восемнадцатилетнюю Мариэтт, сдававшую экзамены на аттестат зрелости, заметил Тио, когда она прогуливалась с матерью в парке, и прошептал:

– Ох ты господи, ты видал малютку Гимарш? Просто танагрская статуэтка! – Правда, он тут же добавил в духе Орельена Шоля: – А рядом ее двойник в тройном объеме!

Сегодня мне не без грусти вспоминается это замечание. Дочь слишком уж часто становится похожей на свою мать.

Но настоящей звездой была, Впрочем, не Мариэтт, а ее сестра Рен, единственная из Гимаршей, достойная того, чтобы повторить о ней знаменитую фразу: *«Спасибо ей уже за то, что видишь, как она ступает по земле»*.

Видишь, и только. Потому что из всего племени Гимаршей как раз с этой девицей я чувствовал себя наименее свободно. Некогда родители называли ее своим Изумрудом, теперь они отбросили это прозвище. Она дала отставку целой дюжине поклонников, но вдруг ее зеленые очи засекли автомобиль фирмы «Мазерати». И Рен заметила в нем водителя. Ему, по видимому, перевалило за сорок, но следовало учесть, что у него была дворянская приставка «де» перед фамилией, что он унаследовал неплохое состояние и к тому же – это уже более редкая особенность среди тех, кто обладает такими преимуществами, – он занимал солидное положение в делах по продаже недвижимого имущества. Рен заинтересовалась и постаралась расширить имеющиеся сведения: выяснила, что этому господину не было нужды трудиться, чтобы прокормить себя. Слава тебе господи, он не был доведен до этой чести. А занимался он коммерцией лишь для того, чтоб его капиталы не лежали зря. Тогда Рен и вышла замуж за его капиталы. И Мариэтт, моя невеста, целую неделю дулась на меня за то, что в день обручения Рен я шепнул ей на ухо:

– Красота для девушки – вещь весьма практичная. Чтоб преуспеть, красавице достаточно лечь в постель в законном порядке.

Но эта удача, увы, миновала следующую дочку. После Изумруда появился серенький камушек – Арлетт. Она сама упрекнула свою мать:

– Могла бы что-то и для меня оставить.

Речь шла, конечно, о тех прелестях, которые выпирали у нее отовсюду, кроме, увы, тех мест, где им надлежало быть: лифчик ее на пляже казался таким пустым и таким плоским, что напоминал медицинскую перевязку. К несчастью, этим дело не ограничивалось. Период глуповатой наивности у девушек даже привлекателен – известно, что скоро они похорошеют и поумнеют, но если это затягивается, это начинает отпугивать. Кто может умилиться при виде такой бедняжки, крахмальное личико которой вдруг розовеет и с потрескавшихся губ слетают какие-то пошлейшие романсы? Если не случится чуда, она, я думаю, еще долго будет посещать танцульки и торчать в углах, грызя печенье и стараясь казаться беспечной.

Остается сказать о Симоне, запоздавшем младшем дитятке – классический промах родителей критического возраста, так мило свидетельствующий о стойких мужских достоинствах мосье Гимарша. От сестер эту девочку отделяет почти полпоколения, но мне не кажутся отвратительными ни ее пронзительный, тонкий голосок, ни ее раннее развитие и нахальство.

Есть еще Клям – это пес, и Негр – кошка. И еще шесть бенгальских птичек в клетке. А кроме того, разные родственники: их тьма-тьмущая. От родоначальника из Кемпера пошли и размножились побеги. Две ветви процветают в нашей провинции. Имеется и южная ветвь с лангедокским акцентом. В общем, всех их не меньше сотни, и все они по-родственному бойко общаются между собой. Весьма наглядно это было продемонстрировано в день моей свадьбы: кроме моего лучшего друга Жилия и еще нескольких человек (приглашенных мною, чтоб было достаточное количество гостей с моей стороны), почти девять десятых свадебного кортежа составляли Гимарши. И описать их всех было бы немислимо. Мы просто утонули в этой толпе. Служащий мэрии почти не ошибся, воскликнув:

– Прошу супругов Гимаршей последовать за мной!

Так это и выглядело в глазах всего города Анже. Никто не говорил о Мариэтт – *та самая, что вышла замуж за молодого Бретодо*. Она так и осталась дочерью *трикотажных торговцев*. Что же касается меня, то я – *тот, кто женился на старшей дочке Гимаршей*. Таков закон больших чисел: друзья, клиенты, поставщики, знакомства, торговая палата – все это огромный круг Гимаршей, в котором – я серьезно этого опасуюсь – наш маленький очажок Бретодо едва приметен.

Мариэтт спит крепким сном. Ее дыхание отмеривает ритм ночи. Я слышу, как она дышит, потом затихает, затем снова едва слышное дыхание. Все в моем мозгу затуманивается, утрачивает ясность. Я умилен. Пытаюсь дышать в том же ритме. Пусть Гимаршей так много, пусть они не такие, как мне бы хотелось, – наплевать! Я позабочусь о ней. Она меня любит и поймет меня. Все эти годы, что нам придется быть вместе... Да, важно не то, как это будет, а сколько времени. «Во всяком случае, – говорил Тио посмеиваясь, – вечная любовь для статистиков сводится к средней продолжительности брака, которая когда-то равнялась пятнадцати годам, а теперь тянется и все сорок пять». Итак, перед нами – полвека. Ночная темь сгущается. Я куда-то проваливаюсь. Пристраиваюсь поудобнее с той стороны, где даже во сне мне оказывают любезный прием. Моя щека лежит на левой груди Мариэтт. Я чувствую сосок, он так крепок, что его можно спутать с пуговицей пижамы.

Она спала. Спал и я. Проснулись мы, лежа рядом друг с другом. Потом в объятиях друг друга. И все же пришлось встать. Сперва Мариэтт, немного растерянная, пыталась в ванной комнате разобраться в незнакомых для нее коробках, флаконах, баночках, а сейчас она уже роется в кухне в поисках привычной домашней утвари.

– Ну и старье! – ворчит она, оглядывая плиту.

Этот чугунный монумент с медной колонкой и треснувшей духовкой, в которой моя мать пекла торты и готовила жаркое из баранины (мне больше не приходится вкушать это пахнущее дымком мясо), жена считает просто утильсырьем. Кажется, и переносная плитка не лучше. А это что? Возможно ли? У нас нет газозажигалки? Мариэтт вцепилась в большую коробку

со спичками, где стерлась и отсырела фосфорная намазка. Два раза чиркнула, но безуспешно, на третий раз появился огонек. И на чуть желтеющем пламени вода начала согреваться. Мне слышно, как Мариэтт переставляет чашки в буфете: выбрала две самые красивые – мы их обычно оставляли для гостей, все остальное затолкала на правую сторону полки (так, видимо, делали на улице Лис), потом повернулась ко мне, окончательно шокированная:

– И даже тостера для поджаривания хлеба нет?

– Мы обычно покупали готовые галеты.

Мариэтт хмурится. Я пытаюсь продолжить разговор: предлагаю после окончания работы в суде поехать обедать к моей маме. Она шепчет:

– Можно поехать и в воскресенье.

– А если бы ты за целую неделю ни разу не выбралась к своим родителям, что бы они подумали?

– Это вовсе не одно и то же! – воскликнула дочь своей мамы. Но покраснела и спохватилась: – Понимаешь, я хотела сказать...

Продолжения не последовало, но мне и так все ясно. Еще в невестах она была для меня открытой книгой, пестревшей, однако, многоточиями. Ее недомолвки, уклончивые выражения требовали всей моей интуиции. Я был как бы живым толкованием к ее Священному Писанию. Сейчас ее смущение вызвано тем, что я посчитал ее невнимательной невесткой. Ей кажется, что увидеться с матерью и рассказать ей об истекших неделях для меня совсем не так важно, как для нее. Это ведь у нее, а не у меня так круто изменилась жизнь, это подтверждает даже лексика: она, Мариэтт, называлась мадемуазель, а теперь она уже мадам, а я как был мосье, так им и остался. Мадам – это уже профессиональный титул. Для дочери – дебютантки в супружеской жизни – самый близкий эксперт ее собственная мать. Для сына, мужская жизнь которого протекала вне дома, мнение матери менее существенно. Вот что хотела сказать моя жена. И если я удивился и брови у меня недоуменно поползли вверх, то лишь потому, что предмет сей беседы вызывает философское заключение: супружество – это ремесло женщин.

– Ну, тебе, как всегда, чай? – спрашивает Мариэтт, увидев, что вода закипела.

Ни разу со дня нашей свадьбы она не заваривала для меня чай. Пить то же самое (то есть то же самое, что и она) – это так по-семейному. Двадцать лет Мариэтт вдыхала у себя дома пар густого шоколада, на худой конец она еще могла себе представить, что кому-то хочется кофе с молоком, который, например, предпочитает ее брат. Но пить чай ни свет ни заря (да еще такой, как я пью, то есть без сахара, – сама-то она страшная сластена) – значит бессмысленно наливать водой. Тем не менее на этот раз она на своем не настаивала. И я предпочел теин, а моя супруга – теобромин. Пакетик чая фирмы «Липтон» высыпали в чайник (о боже, предварительно не ополоснув чайник крутым кипятком), залили горячей водой и немного кипятка оставили, чтоб развести фоскао⁵.

– За стол, дорогой!

– Сейчас, дорогая.

Чайное ситечко так и не удалось разыскать, а оно логически должно было находиться в том же ящике, где лежали штопор и консервный нож. И вот Мариэтт маленькой ложечкой скрупулезно извлекает две-три чайнки, проскочившие в чашку. Пьет она свое какао с блюдца, обжигая себе язык, дует, чтоб остыло, делает маленькие глотки, однако громко хлюпает, не опасаясь, что это неприлично, как мне внушали в детстве. Я поддвигаю к ней галеты и желе из смородины домашнего приготовления, хотя оно и хранится в старых треугольных коробках фирмы «Матерн» с еще уцелевшим ярлычком «Апельсиновый мармелад». После первой же ложечки Мариэтт вымазала себе пальцы.

– Ах черт! Я забыла подать салфетки. Где их найти?

⁵ Фоскао – сухое молоко с какао.

– Они в комод, там, в столовой, под портретом Страхолюдного.

Страхолюдный – это мой прадед, герой Рейхсгофена, портрет его был написан после битвы, в которой сабельным ударом ему раскроили нос. Миг – и Мариэтт уже в столовой. Я слышу, как она там шарит в ящиках комода. Хочет закрыть их и кошунственно грохает ими изо всех сил, вместо того чтобы задвинуть тихо, осторожно. Потом она возвращается с двумя разномастными салфетками, одну из них протягивает мне.

– Ну вот, голубок, – ласково говорит она, заметив, что мне как-то не по себе.

Голубок и верно напыжился. Но он не выставит себя в смешном виде. Эта самая салфетка, такая изношенная, заштопанная, представляет собой историческую реликвию нашего рода, – в уголке великолепно вышиты крестом две буквы – А и Б. Эта салфетка из приданого жены Страхолюдного, некой Амели Бутаван, родившейся еще при Луи-Филиппе. В детстве я думал, что это мои инициалы, к тому же они были первыми знакомыми мне буквами алфавита. Такого рода глупые истории встречаются в любых семейных преданиях. Но Гимарши – фанфароны, рады поиздеваться, поохотать до колик в животе. В моей семье ведут себя более сдержанно. Но что там? Мариэтт встала. Звонит телефон.

– Это, должно быть, тебя!

Оба смеемся, так как сказали это одновременно. И вот мы уже в передней, где находится телефон. Мариэтт уверенно снимает трубку:

– А, это вы, мама!

Следует пауза. Вдовствующая мадам Бретодо о чем-то спросила. Мадам Бретодо-младшая на сей раз с оживлением отвечает:

– Да-да, благодарю вас, путешествие было просто чудесное. Корсика еще лучше, чем о ней говорят.

Бухта Пьяна, Энкюдин, Мон-Сенто – будут ли они сейчас заново воспеты, прославлены свадебным гимном?

Слава богу, моя мать так же, как и я, сентиментальностью не страдает. Еще несколько слов, и вот уже пылкая тирада Мариэтт прервана, и она кончает беседу:

– Хорошо, мама, передаю трубку Абелью. Он собирался к вам съездить.

Она передает мне трубку и держит в руках отводную. В трубке мамин голос. Как не похож он на голос моей жены, он такой спокойный, уверенный, с мягким староанжевенским выговором: *Как мне хочется обнять вас, дети мои. Нет, нет, у вас сейчас много дел, ведь вы только что вернулись, не стоит приезжать сразу же в «Ла-Руссель». Днем тетушка как раз должна доставить один наш заказ, а я поеду в клинику Сен-Луи показать врачу свою ногу. Да нет, совсем пустяки, мой мальчик, лодыжка отекала. Но лучше не доводить дело до подагры. Мы выедем поздно. И сразу же вернемся, еще до обеда. Ну, до скорого свидания!*

Все. Разговор окончен. Я не успел и слова вставить. Если бы я не знал характер своей матери, ее отвращения к «излияниям» и нежелания проявлять свои эмоции на людях, я бы считал такую сдержанность чрезмерно суровой. Однако она восхитила меня. Ваша стыдливость, мама, вас возвышает. Мне передалась от вас сдержанная напряженность. И то, что я так расточительно ласков к этой чужой для вас женщине, ничего не меняет, вы мне дороги, как прежде. Но вот ваша невестка снова взяла телефонную трубку. Она вошла во вкус и вызывает по нашему номеру 60–87 свой 42–95, так возникнут номера-побратимы, и у нас наверняка появится еще множество новых напарников. Она звонко чмокает в трубку и лепечет: *Это я, мамуля, ты меня слышишь? Крепко тебя целую. У нас никаких новостей, сейчас нам свекровь звонила...* О нет, мама, с тещей нельзя ограничиться несколькими словами, как с вами; с этой дамой можно вволю наговориться. Можно говорить так долго, что и чай я выпил, и ботинки зашнуровал, и застегнул пуговицы на пальто, а Мариэтт еще не кончила жеманно выкладывать все, что у нее накопилось.

– Уже девять часов, дорогая.

Она поворачивается ко мне, держа в руках трубку, я обвит проводом, и она нежно напутствует меня: *Иди, иди, дорогой мой... Нет, мамочка, на этот раз я Абеля целую. Он торопится в суд. Не вешай трубку. Мне тебе надо еще столько сказать. А главное, когда же мы увидимся?*

Когда? Да сразу же после звонка. Часов в двенадцать я вернулся домой и узнал, что они уже виделись. Мариэтт прежде всего сказала:

– Жиль прислал мне двадцать роз. – А затем обо всем вперемежку: – Мама по пути забежала к нам на минутку. Она шла от Габ... Ну что за прелесть этот Жиль. Он один проявил такое внимание.

Стало быть, мадам Гимарш забежала по пути, возвращаясь от Габриэль. Теперь и наш дом вошел в тещины маршруты. Мадам Гимарш всегда от кого-то возвращается. И как будто случайно появляется у нас, только чтоб поздороваться. Теща занимается своими делами и одновременно успевает всюду в городе побывать.

– Ну знаешь, тебе повезло. Если б она не пришла, соус у меня ни за что бы не получился, – утверждает Мариэтт.

Это следует понимать так: мадам Гимарш приготовила к мидиям соус бешамель (с белым перцем – доказательство ее компетентности в кулинарии). У Мариэтт в кармане вместе с носовым платком лежал аттестат зрелости, и все же она записалась на курсы домоводства – КШУК, то есть Кройки, Шитья, Ухода за младенцем и Кулинарии – дисциплины самые что ни на есть французские. Правда, она там не особенно усердствовала, как и другие маменькины дочери, которые стремятся выскочить замуж, но не в состоянии поверить, что в домашней жизни женщина просто-напросто домашняя прислуга. Мадам Гимарш, которая столь горда тем, что берет за все (служанка избавляет мадам от мытья посуды), столь же горда и тем, что ее девочки не прикасаются ни к чему, ее ослепляют их холеные, как у принцесс, ноготки. Полагаю, что, обеспокоенная результатами стряпни Мариэтт, она в последний момент прибежала к ней на помощь. Спасибо. Дежурное блюдо благодаря ее заботам весьма съедобно. Но я не стал доказывать Мариэтт, что салат не пересолен, для этого пришлось бы взять еще порцию, а у меня не было времени: я торопился в суд – должен был выступать в начале заседания. Пришлось уехать.

Как ни гнал я свою «аронду» вдоль бульвара Короля Рене, опережая сигналы светофоров, все же домой вернулся довольно поздно. И к тому же приунывший, так как мой клиент получил максимальный срок. Дома я с удивлением увидел всех в сборе – свою маму, тетушку, жену, или, лучше сказать по ранжиру, маму, жену, тетушку, или, еще лучше, не придумывая никакой иерархии, узрел женскую половину нашей семьи, всю мою отраду в трех лицах.

Я отпер входную дверь (у меня был свой ключ) и, едва заглянув в гостиную, сразу понял, что мне нужен еще один ключик, чтобы отомкнуть эти замкнутые лица. Дружеские чувства не проникли в этот треугольник. Те, кого мы любим, далеко не всегда любят друг друга. Улыбались тут только розы Жилия, стоявшие в вазе. Одна мадам Бретодо учтиво принимала другую мадам Бретодо. Я ужаснулся и с деланным оживлением воскликнул:

– Ты еще маму ничем не угостила?

– Да что ты, конечно, угощала! – немедленно ответила моя мать. Сидела она выпрямившись, не опираясь на спинку кресла, настоящая Богоматерь в черном и, как всегда, строгая, но доброжелательная.

– Но разве ты не помнишь, что между завтраком и обедом мы ничего не едим? – сказала моя тетя, точная копия моей матери (недаром я ее в детстве звал «тетя Одинаковая»).

– И, откровенно говоря, – продолжила мама, – тот портвейн, что я тебе оставила, немного стоит.

Серые глаза моей седовласой мамы светились лукавством. Ох! Они смеются надо мной. Меня это больше устраивает. Подхожу, наклоняюсь к ним, мама целует меня в щеку, тетя – в другую. Мариэтт тоже прикладывается. Затем я усаживаюсь и притягиваю Мариэтт к себе на колени, чтоб она перестала хмуриться. Мама продолжает:

– У тебя, верно, уши горели? Мы целый час о тебе болтали. Наверно, для Мариэтт это было совсем неинтересно, так как мы с тетей вспоминали, какой ты был маленьким...

– Во всяком случае, плохую шутку сыграли мы с молодой, – подхватила тетя, – к ней сразу заявили две свекрови.

Мариэтт улыбнулась, но держалась все так же натянуто. Ласковые слова не расшевелили ее. И мне вспомнилась мадам Гимарш, очутившаяся в подобной ситуации. Так отчетливо представил ее себе, припомнив, как теща сама рассказала мне о встрече с приехавшей из Каора невесткой Габриэль – уже беременной, кругленькой, как шарик: *Как она была смущена, эта малышка! Не осмеливалась даже взглянуть на нас. Я ей тогда сказала: «Послушайте, Габ, не будьте дурачкой, ведь я бабушка того, кто в вас сидит...»* У Гимаршей есть непосредственность. Эти толстяки быстро втягивают людей в свою орбиту. Девушке из их клана наша сдержанность кажется вялостью. Над этим следует поразмыслить. Однако перевязка, которая рельефно выделялась под маминым чулком, меня весьма обеспокоила.

– Скажи, пожалуйста, что тебе сделали в больнице?

– Колючку вынули.

– Колючку от твоей любимой акации, – уточняет тетя, – острую, длинную, сантиметра в два. Ветка упала в траву, а твоя мама на нее наступила.

И тут мы все трое перенеслись внезапно в «Ла-Руссель». *Я ведь была права, когда не позволяла тебе лазить на это дерево, а ты все-таки лазил. Да, влезал, чтобы рвать там цветущие белые гроздьи. Да успокойся же, я вовсе не собираюсь срубить акацию за столь малую провинность. И без того грустно, что у нас в саду кизил погибает. Он так и не оправился после того, как в него ударила молния.*

Ну вот мы перенеслись в «Ла-Руссель», в наш загородный дом, в столицу племени Бретодо. Мариэтт слушает нас и удивленно мигает. Для нее центр мира не там, он на улице Лис. А домишко Гимаршей в Монжане – это рыболовная база и кабинка, где можно переодеться в купальный костюм – и прыг в Луару. Все эти разговоры о георгинах, сливах и кроликах ей абсолютно неинтересны. Потом мы переходим к соседям. *Знаешь, у тетушки Жанны, оказывается, рак. Слышал, у нас теперь новый почтальон?* Неизбежно добираемся и до Гюстава, нашего старшего садовника. Старик вскапывает, перепахивает, рыхлит, разбивает, окучивает, сажает, подрезывает, пикирует, пересаживает и все делает так старательно, как теперь уже мало кто делает, ну прямо бог садоводства! *Увы, ему пора уже на покой, а заменить его некем. Что же касается приказчика...*

– Но мы уже наскучили Мариэтт нашими побасенками, – вдруг спохватывается тетя.

Похоже, что это верно, хотя Мариэтт протестует. Она испытывает сейчас то же чувство, что и я вчера вечером в доме Гимаршей: вдруг выдернули меня из родной семьи и метнули в чужую. Моя ладонь тихонько скользит вдоль ее руки (я тут, дорогая, хочет успокоить она, это не я убежал в «Ла-Руссель», а прежний маленький Абель).

Откровенно говоря, я просто выбит из колеи. Месяц назад я еще жил вместе с матерью. Все, о чем говорили мама и тетя, было для меня самой жизнью, повседневным моим бытием. И вдруг все превратилось в воспоминания. Мои старушки сразу это почувствовали – вот они уже поднимаются, надевают свои пальто. Но почему же мама обводит медленным взглядом нашу старомодную гостиную? Почему, стараясь сдержать вздох, она говорит:

– Я полагаю, вы здесь все перемените, да?

Нерешительный жест Мариэтт не может ее обмануть.

– Ну конечно, – продолжает мама. – Все это слишком для вас старо. Ну вот занавески, например. Их ведь повесили еще перед моей свадьбой.

Оттого, что наша свадьба отодвигает в тень ее свадьбу и что мама на это согласна, ты можешь наконец, жена моя, посмотреть на нее не как невестка, а как дочь.

Так как мы пока осторожны друг с другом, опасаемся того груза привычек и секретов, которые каждый принес с собой, то после обеда (суп из концентратов фирмы «Ройко», омлет и груши) мы остаемся сидеть за столом, освещенным низко висящей лампой, и нам весьма уютно.

Развернув свой сантиметр, ты тщательно снимаешь с меня мерку от подмышки до бедра, спрашиваешь, нравится ли мне теплый пуловер, который я ношу; услышав, что он мне по вкусу, осведомляешься, как я смотрю на более модный, который ты начинаешь для меня вязать. Обычно собака отмечает свой путь, подымая заднюю лапку; птица поет, чтоб заявить: это место занято мной, а женщина вяжет, чтоб подчеркнуть: этот мужчина принадлежит мне. После длительных расчетов, сколько набирать петель, сколько спускать, ты, почесав голову кончиком пластиковой голубой спицы, мечтательно говоришь:

– Нет, я еще не учла всех трудностей.

И в самом деле. Но если у тебя будут лишь такие трудности, то тебе, пожалуй, скучно станет. А мне-то сразу после нашего медового месяца пришлось окунуться в чужой деготь: я анализирую дело Сероля. Днем мне удалось побеседовать с Агнес. Тут все проще простого. Сероль удрал. Сделать предупреждение через суд, и, если к положенному сроку Сероль не вернется к семейному очагу, баста! Дело – конфетка! Но к черту Абеля-юриста, для которого всякий развод – доходная статья! Однако анализ дела показывает, что вроде бы ничто не предвещало развода. Тут не было ни ссор из-за денег, ни сексуального несоответствия, не наблюдалось давления со стороны родителей, ни любовника, ни любовницы, никаких религиозных или идейных несогласий. Все в точности как у нас. *Опротивели мне твои привычки, твои вкусы, твои родители, твои друзья...* – вот и все, что говорилось в письме, объявлявшем о разрыве. Сероль уехал; с точки зрения официальной он виновен. Но я немножко знаю Агнес. До чего неуживчива! Все должно быть подчинено ее интересам. *Сам увидишь*, говорил мне мой шеф, когда я был еще стажером, *в пяти случаях из десяти семейные разрывы объясняются множественностью мелких причин. Двое соединившихся людей должны еще приспособиться друг к другу, сгладить различие характеров. Но для большинства есть только один выход – или все принять, или отбросить. Мы кормимся за счет тех, кто отбрасывает...*

– Абель, – говорит Мариэтт, не глядя на меня, – ты скажешь, что я дура, но знаешь, я побаиваюсь твоей матери...

Она продолжает вязать, не поднимая головы. Прядь волос падает ей на грудь.

– Бывают минуты, когда я чувствую себя такой скованной, она кажется мне какой-то неземной. Слишком уж безупречная. Люди без недостатков меня пугают. Моя мамаша, по крайней мере, не похожа на видение.

В голосе Мариэтт нет враждебности. Но она боится, что ее муж, как многие другие мужчины, которые восхищаются своей матерью, мечтает, чтоб и его жена была на нее похожа. Ну что ж, отвечу и я откровенно:

– Не старайся, пожалуйста, быть такой, как она или как твоя мама. Мне достаточно тебя самой!

Хотелось бы, чтоб мои опасения были столь же неосновательны, как и ее. Она улыбнулась. Потом взглянула на стоявшую на столе маленькую рамочку с фотографией моей улыбающейся матери, и я сообразил, в чем Мариэтт упрекает ту, что отдала ей свой дом и своего сына. Впрочем, я уже и раньше знал об этом. Щеки мои запылали. Пусть твоя ревность несправедлива, мне от нее тепло. Наши с тобой отношения обыкновенны, как и любой брак. Но мне

хотелось бы, чтоб эта обыкновенность увенчалась удачей. Через десять лет мы узнаем, было ли это всего лишь любовным приключением. А пока ты прекрасна, и нам обоим так легко. Дорогая, я люблю свою мать. Тебя тоже. Когда женщина, которой мы обладаем, вяжет для нас, она начинает вытеснять ту, которая произвела нас на свет.

1954

Меня всегда изумлял интерес людей к перипетиям. В области чувств у супругов или любовников главным считается развитие действия. Фильмы, литература, театр используют лишь две ситуации.

Primo, появление. Предпосылки к продолжению рода. Установить, как и почему молодой человек и девушка (прежде обязательно девственница, а теперь – в расширительном смысле – всякая девица, достигшая половой зрелости и получившая первый опыт) могут, несмотря на сотни препятствий, стать супружеской четой и жить счастливо, имея много детей (по современному варианту: жить счастливо, не обзаводясь, однако, слишком большим потомством).

Secundo, уход. Расставание, развод или револьвер. Установить, почему и как расстраивается супружеская жизнь из-за того, что в нее вмешивается посторонний мужчина или посторонняя женщина, и как тогда супруги могут разойтись вопреки законам и пророкам, упрекам совести, финансовым обстоятельствам, нареканию родни и наличию младенцев.

Начало и конец любви – вот что заманчиво для рассказчика; середина якобы никого не интересует. А где же, спрашивается, сама супружеская жизнь, тот самый брак, в котором живут почти все люди и который они не разрывают, такой долгий, будничнейший, тягостнейший; постель не является в нем единственным алтарем, есть еще и кухонный стол, и письменный стол, и автомобиль, и швейная машина, и стиральная машина. Неужели сама область семейной жизни настолько скучна для наших порочных соглядатаев, что они могут грезить (только грезить, а ведь надо жить) лишь манящим началом или экстазом конца. Это и есть необходимый им минимум разнообразия. Но такой любопытный прогон от начала к концу весьма красноречиво показывает, чего стоят чувствительные романсы, которыми они стараются возвысить свои постельные интрижки.

В супружеской жизни меня гипнотизирует (искушает и одновременно пугает) неподвижность брака. Вот сюжет, один-единственный, который исключает интригу. Именно это состояние в принципе должно быть постоянным у человека, хотя оно противоречит мужской природе, вечно жаждущей новизны. В этом смысле я не лучше прочих мужчин, но у меня есть одно преимущество: стремление к разумному. Я не могу ни преклоняться перед страстью, ни обходиться без привязанности. В буржуазной среде эти черты всегда являлись хорошей предпосылкой для брака.

Но в наши дни семейная жизнь могла бы потребовать еще и других предпосылок, которыми, видимо, я не обладаю в достаточной мере, если судить по той легкости, с которой я порой проклинаяю наш брачный контракт.

Вчера вечером у нас была первая годовщина. Целый год семейной жизни – это заслуживает размышлений. Ситцевая свадьба! Мне кажется весьма благоразумной традиция, которая после двух лет брака именуется его бумажным, после трех – кожаным, после пяти – деревянным, после десяти – оловянным, после двадцати пяти – серебряным и, совершенствуясь в ювелирном искусстве, предвидит золото – к полувек, бриллиант – к шестидесятилетию, платину – к семидесятилетней годовщине, чтобы к восьмидесятилетию снова вернуться к дубу, из которого, надо понимать, будет сделан гроб.

Вот уже три недели наш «ситец» рвется: я и Мариэтт ссоримся непрестанно. Из-за всякой мелочи. Например, из-за оплаты телефона (рано утром она обязательно звонит своей мамаше, длится разговор целый час, а в результате счет, оказывается, возрастает). Из-за какого-то приглашения в гости (ей хотелось пойти, а я сразу отказался). Из-за электрического утюга, оставившего след на столе. Ну, и без всякого повода. Слово за слово – и поехало! Мы уже прошли через такое испытание пять месяцев тому назад, и Тио тогда мне сказал:

– Ба! Мы все как лейденские банки. Чтоб напряжение упало до нуля, надо время от времени вызывать вспышки искр.

На этот раз, по крайней мере, причины были ясны. Я плохо перенес недавнюю попытку «модернизировать» наш дом. В понедельник (в этот день обычно все магазины закрыты) мы подверглись семейному вторжению – я застал у нас мадам Гимарш, окутанную воздушным облаком тюлевых занавесок, тощую Арлетт, миниатюрную Симону и раздавшуюся в ширину (в который раз!) Габриэль, вместе с ней были и три ее дочери, – кто из них Алина, кто Катрин, а кто Мартина распознать нелегко, но их тут же заставили хором сказать «здравствуйте, дядябель!» и принялись вытирать им носы. Мадам Гимарш заверила, что явилась прямо из филиала своего магазина и что ей надо туда вернуться; поправив косыночку на своих волосах, она известила меня:

– Тетушка пришла повидать вас.

– Моя тетка?

– Я говорю о тетушке Мозе, – разъяснила теща, весьма удивленная путаницей и тем, что я недостаточно оценил важность августейшего визита.

Крестная мать Мариэтт, мадам Мозе, естественно, теперь и моя тетушка; доказательством этого является то, что по ее завещанию мои будущие наследники станут также и ее наследниками и смогут получить тогда одну пятую ее состояния, если только она не лишит их наследства. Она, стало быть, мне родственница в третьем колене, с этим не так быстро освоишься. Но дамы сразу забыли обо мне. Одна из них продолжает разговор, видимо прерванный моим появлением, обращаясь к другой:

– Бедная Луиза! Я ведь несколько раз говорила: сестрица, не подписывайте арендный договор.

Что за договор? Какая Луиза? Я в этом никогда не разберусь. Следом за ними я вхожу в гостиную, а там, оказывается, пыль столбом. Под люстрой с подвесками стоит тетушка Мозе, этакая длинная черная баба-яга, кашляет, кудахчет, трясет двойным подбородком.

– А вот и адвокат Патлен!⁶ – говорит она язвительно.

Я уже раз видел эту старую сплетницу, доходы которой заставляют людей относиться к ней с почтением, а ей самой позволяют с полной безнаказанностью издеваться над родственниками. Ее усатый рот касается моего лба, затем она шагает вперед и тычет указательным пальцем в живот Габриэль.

– Это уж слишком! – говорит тетка Мозе, уставясь на меня.

Но тут же оборачивается к Мариэтт и тем же пальцем пронзает ей пупок:

– А ты чего отстаешь? На что годится твой муж?!

Тетушка игриво оглядывает нас обоих, смотрит, улыбаемся ли мы, и, видимо, очень довольна нашим смущением. Надо сказать, что многие поздравили бы нас с тем, в чем она упрекает (ну, вы хоть не торопитесь!). И все же иной раз я замечаю некоторое удивление (как это вы устраиваетесь?), и кое-кого это заставляет задумываться. В таких случаях в провинции немедленно возникает подозрение в бесплодии. Мариэтт, словно она в чем-то виновата, отворачивается, гладит по головке одну из своих племянниц. Мадам Гимарш меняет тему разговора:

– Ну, вы заметили, как мы тут поработали?

Трудно было бы не заметить, видно, все они в этом участвовали: занавески, портьеры, металлические багеты, шнуры вперемешку лежат на ковре. Окна полностью оголились, и то, что у нас происходит, открыто взглядам прохожих.

– Совсем истрепались эти занавески, были рваные во многих местах, – сказала Мариэтт.

⁶ Персонаж французского фарса XV века.

Казалось, она чем-то расстроена. Сколько же пыли! Как будто держим дом в порядке, но стоит тронуть какую-нибудь раму или старую портьеру, и на вас обрушивается паутина, серые хлопья пыли.

– Это еще не все, – возвестила теща. – Вам надо посмотреть столовую.

Меня повели туда. Столовой больше не существует. Голый оконный проем освещает незнакомую мне комнату, из нее исчез мебельный гарнитур стиля Генриха II, где был такой памятный мне с детства старинный буфет: шестьдесят две балясинки означали возраст моей покойной бабушки (а мне тогда было шесть лет). На ковре из крилора справа и слева стояла мебель тикового дерева. Светильник из Дании торжественно освещал современное вторжение викингов.

– Мы хотели тебе сюрприз устроить, – прошептала в экстазе Мариэтт.

Вот как они назвали все это – сюрприз! Я просто не мог найти слов в ответ.

– Ты...

– Нет, – ответила Мариэтт, воздавая хвалу тому, кто ее заслужил. – Это крестная.

– Я уже как-то вам говорила, что свадебные подарки делаю спустя год – это мое правило. Хочу быть уверенной, что семейная жизнь достаточно прочна, – говорит благодетельница, видя, что я словно оцепенел; она чрезвычайно довольна своими благодеяниями и моей радостью, равно как и тем, что я не в состоянии объяснить природу этой радости.

Тетушка кладет мне на плечо руку, другой рукой обхватывает свою крестницу и, кивнув подбородком в сторону моей тещи, добавляет:

– Впрочем, всем этим занималась Мари.

– Да, я достала эти вещи прямо на фабрике, – пояснила мне мадам Гимарш, – по оптовой цене. И там же забрали у меня старую мебель.

Мысль о том, что таким образом я частично расплатился за подарки, как ни мала была моя доля, еще больше увеличила мою признательность. Начались объятия, бабу-ягу лобызали. Я случайно посмотрел на стол.

– А это, – сказала Габриэль, среди всеобщего волнения, – это мы сами сделали.

«Мы» – стало быть, сестры. Габриэль, Арлетт и Симона, может, и Рен в своем далеком Париже, может, тут орудовала и самая старшая из маленьких кузиночек, с робостью держа в руках спицы. Все вместе они квадрат за квадратом из тысячи остатков от старых свитеров, из клочков шерсти и стольких потерянных часов собрали эту потрясающую patchwork⁷, модное изделие, прославляемое хором всех любительниц вязания. Снова начались объятия. Чувства переполняли меня. Но вот день начал угасать, и разговор тоже, ведь даже при самой необузданной болтовне есть вещи, о которых члены семьи предпочитают друг другу не говорить. Затем посыпались прощальные слова, произносимые в четырех тональностях четвертьмя поколениями – двоюродной бабкой, племянницей, внучатыми племянницами, их детьми. Все поздравляли и получали поздравления и уходили, гордые тем, что им удалось произвести полный переворот в убранстве моей квартиры и принести мне столько счастья своей энергией.

– А странный ты человек, – проронила Мариэтт, закрыв входную дверь. – Тебе просто королевский подарок преподнесли, а ты едва изволил поблагодарить. – И сразу без всякого перехода: – А что ты предпочел бы для новых портьер? Бархат, репс или искусственное волокно?

Она выбрала искусственное волокно.

А я ведь не говорил: «Теперь, моя дорогая, это твои владения» – любимая формула социологов, которая быстро превращает вас в принца-консорта. Достаточно сказать это хотя бы разок или некстати промолчать. Как и моя мать, я охотней помалкиваю и жду, что будет дальше. Этот метод приносит успех, если молчание подобно крепкой стене, о которую разби-

⁷ Лоскутная накидка (англ.).

ваются все доводы. Но стена моего молчания подобна песку, который уносят волны прилива. Молчание моей матери означает отказ; мое молчание принимают за знак согласия.

Не буду перечислять все, на что я соглашался, список был бы чересчур длинным. Мариэтт видит в этом любовь (что, конечно, не исключается). Она в бурном восторге от новой четырехконфорочной газовой плиты и не сразу обнаруживает мою холодность – меня пугают предстоящие платежи. Когда Мариэтт впервые занялась чисткой всех шкафов, то повыбрасывала оттуда кучу ненужных вещей, скопившихся при моей матери, и это имело свой смысл: ей требовалось освободить пространство, чтоб иметь возможность затолкать туда другие вещи (чужие тряпки – не больше, чем тряпки, а наши собственные лоскутки – это еще и воспоминания). Грустно то, что мало кому нравится, когда выметают, как мусор, всю его юность. В таких случаях я впадаю в рассеянность, подчеркиваю свою отрешенность от суеты земной. Удаляюсь в свой кабинет и там работаю, забываю о времени. Мариэтт входит ко мне. Вздыхает:

– Ну что я тебе такого сделала?

Иной раз она и сама догадывается:

– Тебе жалко этого старья? Но почему ты ничего не сказал мне?

Все это кончается переживаниями: она считала, что правильно поступила, мне же следовало не спорить – пусть считает, что поступила правильно. В углу моего кабинета находился диван – спасительное прибежище. Прежде там спала моя целомудренная тетушка, когда приезжала в гости по случаю «распродажи остатков» или рекламной выставки бельевых тканей в магазине «Дам де Франс». И на этом же диване обычно завершалось наше примирение – перебранка переходила в нежное бормотание. Я бросал на диван прямо в одежде свою изящную хозяйку! Я заставлял ее покориться своему повелителю. Женщина на ногах и лежащая женщина – это две разные женщины. Когда ты вся трепещешь, мое сокровище, я уверен в одном: твои радости в моей власти.

Не собираясь ничего преувеличивать, я хочу заглянуть в пассив. В молодой семье столкновения, конечно, неизбежны. Супруги еще не притерлись друг к другу, это происходит медленно, но для сглаживания шероховатостей пока пользуются мелким наждаком. Если случается беда, то виной тому прежде всего неведение. Можно научить канцелярскому делу, администрированию, коммерции... Научить совместной жизни нельзя: супружество – своя собственная школа совместного обучения.

Этот год мы будем рассматривать как стажировку. Кроме самой женитьбы – главного события, перед которым отступает в тень все остальное, как будто ничего существенного не произошло. Детей у нас еще не было. Я продолжал создавать себе клиентуру. На три недели мы ездили в Киберон вместе со всем семейством Гимаршей, которые считали необходимым проводить летние каникулы на морском песке, потом мы жили неделю у моей матери в «Ла-Руссель». И я опять приступал к работе. У нас, у мужчин, всегда есть такая возможность балансировать, как акробаты, пользуясь этой точкой опоры, которая расположена за пределами семьи.

Короче говоря, если год этой жизни еще не назовешь триумфальным, то и неудачным его нельзя считать. Как мне казалось, наши семьи были нами, пожалуй, довольны. Может, с какими-то отдельными оговорками. Конечно, не всегда удается пресловутое сложение наоборот (когда из двух единиц получается одна). Достаточно и того, что существуют признаки нашей неделимости, пусть это и более обыденно. Я пока еще редко ощущал, что, сказав «да» одной-единственной женщине, я лишил себя сотни других; я скорее уже чувствовал себя голубком в гнезде, защищенным от всех ветров и бурь. Мне думается, большая редкость, когда мужчина и женщина настроены на волны одной длины. Каждый ищет своего двойника. Но находит лишь иное существо. Наша потребность в другом существе сильна именно потому, что мы ищем в нем прежде всего себя. Будь терпимой ко мне, жена моя, ведь и я терпим к тебе. Я начинаю познавать, какова ты. Это связано с волнениями, раздражением, стойкими иллюзиями, упорством эгоизма; может, я несколько искажаю твою сущность – пусть мое суждение

будет также судом надо мной. Фотограф живет только тем, что видит перед собой, и, однако, снимок за снимком он мельчит, деформирует и разрушает единство природы.

Но надо уметь подвести итог.

Надо сказать прежде всего о ее достоинствах.

Первое – это то, что она существует.

Хотя она принадлежит к разновидности самой обычной, той, что зовется «средним классом», к столь же обычной белой расе, хоть она, как и многие, брахицефал, всеядна, кровожадна, вышла из арийской ветви прямоходящих приматов, тем не менее она образец *homo sapiens* в весьма приличном состоянии.

Кроме того, ее достоинства зачастую порождены ее недостатками, что их отнюдь не умаляет.

И наконец, шутки в сторону, у нее есть много других достоинств.

Она откровенна: ее рот – просто алый телефон; Мариэтт не может скрыть того, что у нее на сердце. Она говорит все. Она отступает лишь перед словами, из которых многие есть табу (особенно пошлости), ибо для нее они не просто описывают что-то, они обязывают. Отнюдь не заклинание бесов, как для меня. Искренность Мариэтт никогда не подкрепляется грубостью. Если уж нужно послать меня к черту, она скажет это глазами.

Она терпима, но это разумное милосердие необязательно начинается с нее самой. Это в порядке вещей: чем меньше мы судим ближних, чем больше отпускаем грехов, тем легче и нам самим признаваться в них. Но, узнав что-то любопытное, она из приемника легко превращается в передатчик злословия. Мариэтт может, нисколько не морализируя, сообщить:

– Только что встретила на улице малышку Марлан. У этой девчонки живот на нос лезет.

Единственный комментарий:

– Будь ты понастойчивей, я бы тоже такой ходила.

В ее смешке чувствуется зависть.

В ней есть бойкость. Она вполне способна подпустить шпильку (но не больше). Если я недоволен и придираюсь бог весть к чему, то слышу:

– С тобой поговоришь, словно укуса хлебнешь.

О знаменитой тетушке Мозе, которая так похожа на летучую мышь, когда взмахивает длинными тощими руками, потряхивая концами своей шали, как крыльями, об этой тетушке, которая страдает недержанием и то и дело летает в одно местечко, Мариэтт говорит:

– В сущности, она безобидна, наша летунья!

Она терпелива: терпение порой добродетель весьма скучная, ею наделен и верблюд, однако в миловидном облике моей жены оно кажется ангельским.

И мужество ей не чуждо – не так-то легко перейти из дома матери, где дочка ничего не делала, в дом мужа, где ей приходится делать буквально все. Право, для этого необходимо мужество. Только женщины способны на такую метаморфозу. Конечно, и мне тоже пришлось стать многосторонним: в суде я – адвокат, а дома – доверенное лицо, мастер на все руки и любовник. Но все это пустяки в сравнении с тем, что она взвалила себе на плечи: домохозяйка, кастелянша, кухарка, секретарша, судомойка, штопальщица, косметичка, счетовод, гостеприимная хозяйка, любовница; в одной руке пудреница, в другой пылесос, в одной руке утюг, другая схватила телефонную трубку, а вот уже обе заняты стиркой или стучат по клавишам пишущей машинки, перепечатывая мою переписку, – приветствую тебя, Кали, многорукая богиня, которой удается быть ко мне не слишком суровой.

Жена моя внимательна. Чтоб отметить запоздавшую награду моего дядюшки – у него теперь в розетке орден Почетного легиона, – Мариэтт устраивает для него «розовый обед»: лионскую ветчину, курицу в томатном желе, салат из цикория и свеклы, клубничное мороженое. Само собой разумеется, на столе было и розовое анжуйское. Мои мама и тетушка, приглашенные на обед, просто умилились:

– Что за прелестная мысль, деточка!

«Мысль», – на мой взгляд, слово не совсем уместное, ведь эта «мысль» подсказана женским журналом «Мари-Клер». Но это как раз относится к тем маленьким чудесам, которые Мариэтт, как добрая фея, творит с великой охотой.

Жена моя стыдлива. Кроме Мариэтт в постели, чья юная нагота несколько строга, и Мариэтт на улице, – элегантность ее костюма тоже кажется строгой, есть еще одна Мариэтт – в спальне, вот эта была бы находкой для модного журнала, рекламирующего бельевого отдел в «Бель жардиньер». Мне она в этом виде тоже нравится. Перед глазами одни кружева. Хотя само по себе все это не так уж красиво. Малюсенькие трусики, ничего не прикрывающие; у бюстгальтера – бретельки, на поясе с подвязками болтаются застежки для чулок – все это напоминает сбрую лошади, на которую набросили шлею и постромки. Чулки, хоть и натянуты с помощью зашипок, тоже, в общем, ничего не меняют. Любая женщина в этакой упряжи получается в полоску: проглядывают бедра, сектор живота, верх груди, она вся зашнурована, стянута множеством всяких резинок. Встречаются женщины, которые так и ходят, совершая утренний туалет, не заботясь о пеньюаре, – френч-канкан, да и только. Мариэтт таких вещей не допускает: она инстинктивно понимает, что игривость нравится, но всему свое время. Та же благопристойность соблюдается и в запретные для меня дни. Если я случайно замечаю в каком-нибудь журнале объявление, в котором фабриканты всяких дамских принадлежностей вопят *о полном перевороте в интимной гигиене женщины или о современных средствах комфорта для женщин – два слоя гигроскопической ваты и тонкая прокладка из полиэтилена*, я отбрасываю этот журнал. Если около меня шепчутся о том, что прислуга мадам Гимарш должна пойти к врачу, так как у нее «больше не бывает», я убегаю из комнаты. В случае необходимости Мариэтт, как всегда, скромна, но ничего не скроет и только скажет:

– Сегодня ты меня извини.

Но в постели ее стыдливость почти исчезает, даже быстрее, чем моя. Кто силен в своем праве, требует должного. Слов она боится (несомненно, потому, что они вульгарны), но жесты ее не пугают. Ведь все, на что она дерзает, как бы освящено таинством любви. И даже если в тебе проснется бес, Мариэтт готова его причислить к лику святых.

И наконец, она ребячлива. Во время воскресных загородных прогулок ее все восхищает. Она меня останавливает, бежит вперед, наклоняется то здесь, то там, прибежит обратно с испачканными каблуками, но зато в руках шесть ромашек и три лютика. В «Ла-Руссель» можно было нарезать огромные букеты георгинов, но ей это было неинтересно: вся эта пестрая радуга создана благодаря удобрениям. Цветы надо находить вдвоем, срывать их украдкой, в спешке, с радостным птичьим щебетом:

– Беги скорей, я уже сорвала!

А теперь продолжим описать ее недостатки. Предупреждаю: тут мне понадобится лупа.

Прежде всего ее чрезмерная вездесущность. У Мариэтт много хороших качеств, но она не прозрачна, и я иной раз думаю о том, что во время помолвки мне было куда легче, мы хоть могли друг от друга отдохнуть. Если мне хотелось, я мог по собственной воле повидаться с ней или же отложить встречу. В те времена я *выходил из дому*, чтоб с ней повстречаться, а нынче для этого я *возвращаюсь домой*. Я уже не открываю дверь, а закрываю ее за собой. И нахожу жену, верную, как стенные часы. Она глядит на меня во все глаза, на языке у нее вертится уйма вопросов:

– Что ты будешь есть? (*Вопрос каждодневный.*)

- О чем ты думаешь? (*Неизменный.*)
- Что ты завтра собираешься делать? (*Вечерний.*)
- А в воскресенье что предпримем? (*Еженедельный.*)
- Сколько у нас осталось денег? (*Ежемесячный.*)

Она здесь, рядом, она всем проникается и повсюду меня настигает. Нет мне убежища. От Мариэтт никуда не спрячешься.

- Разве только в уборной... – осмелился я сказать дяде Тио.

И Тио, который не даст мне спуска, благодушно ответил:

- Отшельник с непокрытой головой... Бедняга!

Ее принадлежность к «Женской партии». Вдохновленная примером своей мамы, Мариэтт охотно манипулирует повелительным наклоением. Мадам Гимарш была воспитана в эпоху Меровингов и сохраняет свойственные тем временам форму и маскировку. Командует она в условном наклонении:

- Туссен, тебе бы следовало сменить носки.

Мариэтт рубит короче:

- Абель, включи мигалку!

Ибо журналчик «Современная женщина» внушает моей жене: *Подобно тому как источник суверенной власти – народ, источник власти в семье – супружеская чета*, которая надеется властью того и другого супруга, то есть того, кто ее захватывает, а Мариэтт весьма склонна к захватничеству. Осуществление власти у мадам Гимарш является узурпацией; у Мариэтт же это государственная обязанность. Вот откуда ее крайняя обидчивость, она считает вольнодумством такое, например, высказывание:

– Мужчина перестал быть центром вселенной – пусть так! Но уж никак не для женщины...

Мариэтт тут же отнесет вас к категории «ужасных людей». В разговоре с ней приходится выбирать слова. Я больше не позволю себе сказать напрямик:

- Там был Морис со своей пухлой шлюхой.

Оскорбление женской половины рода человеческого! Такая неосторожность может отравить весь день.

Тот же тон появляется у нее, если я засуну куда-нибудь свое кашне и ей приходится его искать. Разыщет, аккуратно наденет мне на шею, но при этом подчеркнет:

- Ты меня что, за свою няньку принимаешь?

Она согласна делать все, но как вольноотпущенница, демонстрируя, что я столь же завишу от нее, как и она от меня. И даже немного больше. При этом я должен «не забывать, что я мужчина». Такой, каким полагается быть мужчине: этаким высоким черноволосым красивым пастушком, надежным, как его пес, сильным, как баран, кротким, как ягненок, – словом, таким, в объятия которого стремится каждая пастушка. Мариэтт любит, но совершенно не уважает Эрика: он у Габриэль под башмаком. Правда, Мариэтт с удовольствием и мной так бы командовала, продолжая, конечно, при этом жалеть Габриэль.

- Разве такой мягкотелый увалень может быть опорой в жизни?

Ее недоверие к мужчинам. Оно привито, правда без особого намерения, еще с детства, и она невольно выражает это недоверие по любому поводу. Мадам Гимарш, которая безуспешно охотится за мужем для Арлетт, не упустит случая подбодрить дочку. По воскресеньям прислуга бывает отпущена, и тогда мамуля говорит своей Арлетт:

– Пойди прогуляйся, оставь посуду мне. Ты еще всласть с ней повозишься, когда обзаведешься собственным повелителем.

Мосье Гимарш не умеет даже гвоздя вбить. Мадам Гимарш вздыхает:

- Что вы хотите? Это же мужчина.

Урок усвоен. Мариэтт, глядя на огромный живот Габриэль, делает гримаску и шепчет:

– Уж эти мужчины!

Так и кажется, что читаешь Анн-Мари Каррьер: *Если не бедны, так жадны. Если старики, то жалки*. И все как один неблагодарны, коварны, полны самомнения. Хороших образцов не существует.

Ее сентиментальность. Она вошла в семейную жизнь, как в кондитерскую. Кондитер – я, и моя обязанность – предложить ей тысячу усад. Romantic love!⁸ Никакого противоречия с тем, что этому предшествует, Мариэтт не замечает. Если женщину брак разочаровывает, в этом опять-таки виноват мужчина, он ни к чему не относится серьезно. Но она не осмеливается поддерживать миф о своей второй половинке, которую человек случайно встречает среди трех миллиардов себе подобных. Однако если ее припереть к стенке (Тио обожает дразнить Мариэтт), она немедленно находит священную формулу:

– Люди встречаются по чистой случайности, я это допускаю. Но как все-таки произошло то, что могло и не произойти?

Таким образом, одна случайность уничтожала другую случайность. Поворкуем, мой голубок, о предопределении.

– А твоя сестричка? – говорит дядя Тио, которому порой нравится высказывать жестокую правду в лицо. – Предположим, что твой зять теряет свое состояние – а это может быть с кем угодно, – если его денежки пропадут, разве можно будет сказать, что их у него не было?

Мариэтт в недоумении пожимает плечами. Закон, небесные светила, вежливость, общественная мораль – все они учат, что домашняя Венера бескорыстна и живет любовью. Долой Сатану, который смеет утверждать, что зачастую это ложь, что люди иногда разводятся и что они в конце концов умирают!

У нее свой угол видения, но его освещает лишь луч карманного фонарика. Кто-то заговорил, например, о войне в Индокитае. Мариэтт будет молчать из боязни разногласий, а потом вдруг вставит:

– Мой двоюродный брат Марсель потерял там руку. Эта рука – кровавое доказательство драмы.

У нее свои притяжательные местоимения. Послушайте, как Мариэтт произносит *мой муж*.

Вы обнаружите тот же самый оттенок, который выступает в ее нежных акафистах: *мой волчонок, мой крысенок, мой цыпленок, мой котенок...* Все эти ласкательные имена, в которых я уподобляюсь любому зверю, любому домашнему животному и даже дичи или овощу, – только предлог, чтоб сказать *мой*, поставить клеймо: *частная собственность*.

Впрочем, иногда в притяжательном местоимении нет нужды. Прежде я сам одевался, а теперь она меня одевает. Если бы не моя профессия с ее требованиями, она подбирала бы мне свитер, брюки, носки под цвет своим платьям и мы оба были бы одеты одинаково. То же самое происходит и с моим распорядком дня: каждая минута, которую я провожу вдали от нее, Мариэтт кажется украденной у нее. Это касается и моих удовольствий, я должен дышать ее воздухом. Зачем мне стремиться на стадион, раз я сам участвую в футбольной команде любителей?

И снова притяжательное местоимение, оборачивающееся против меня с такой настойчивостью («Ты опять идешь на *свой* футбол?»), что я предпочел бросить футбол.

Я уже не говорю о том, что на улице ее взгляд следит за направлением моего взгляда.

У нее есть нервы. Ей хотелось водить автомобиль. Мои товарищи уступают руль своим женам, когда машина прослужила уже не меньше двух лет. У меня машина старая, тут большого риска нет. И скажу откровенно: если мы с женой едем вместе, я предпочитаю быть пассажиром, а не водителем, во-первых, потому, что Мариэтт ведет машину хорошо, а кроме того,

⁸ Романтичная любовь (англ.).

она себе доверяет больше, чем мне, и перестает бояться. Если же у руля нахожусь я, Мариэтт то и дело кричит:

– Красный свет! Не лезь на пешеходную полосу! Держись правой! Посмотри в зеркало! Осторожно, радар! Скорость не больше шестидесяти!

Говорить ей о том, что я, к счастью, не слеп и, к сожалению, не глух, бесполезно: ничего не изменится. До тех пор пока она не усядется на место смертника, мне будет казаться, что я перебираюсь через бурные воды, взгромоздившись на плечи святого Христофора, и каждую секунду рискую потерять шоферские права.

У нее развит фамильный шовинизм. Все браки морганатические. Супруг полагает, что вышел из бедра Юпитера чуть повыше, чем супруга; она же считает, что принесла ему больше выгод. Мариэтт любит повторять:

– Уже в течение пяти поколений кривая нашей семьи идет вверх.

Вот откуда и трудность превратить ее в Бретодо. В «Ла-Руссель» все для нее чужое. Раз в месяц мы там бываем. Если ведет машину она, то нередко ошибается, выезжает не на ту дорогу: провинция Анжу изображена на двух дорожных картах, и Мариэтт постоянно их путает, берет с собой карту № 63 вместо № 64.

И все же ей не удалось внушить мне восхищение хитроумием Гимаршей! Что следует говорить, чего не следует, что можно делать, чего нельзя, что носят, чего не носят, во что верят, чему не верят – для жительницы Анже тут целая бездна премудрости! Конечно, Мариэтт вносит во все эти понятия некоторый коэффициент новизны. У нее имеются свои суждения. Образование расширило ее кругозор. Она не лишена и женской интуиции. Но идей у нее маловато. Мариэтт быстро схватывает, хорошо усваивает, но никогда вас не поразит.

Но хуже всего, что на улице Лис ее тотчас же возвращают в детство. Я родился в среде, где никто не требовал от девушек, чтоб они «выдумывали порох», лично мне совсем не нравятся синие чулки, которые стараются пустить всем пыль в глаза.

Но когда Мариэтт тащит меня по воскресеньям играть в бридж с ее отцом и братом, я мучаюсь! Дядя Тио, старый офицер, обожает карты, и Гимарши быстро его признали, он нередко играет в качестве четвертого партнера. И вот мы, мужчины, сидим за картами, а женщины занимаются болтовней. Наши реплики касаются главным образом козырей. Нам слышно, как мадам Гимарш, шептавшаяся до этого со своей невесткой, вдруг громко резюмирует:

– Тем не менее будь осторожна. Нельзя забывать о его энтерите, этак ему и помереть недолго.

– Ах ты мой Клям, ах ты мой Клям! – бормочет Симона, лежа на ковре вместе с племянницами, и все четверо барахтаются, играя с собачкой, которая норовит куснуть их куда попало.

Но Арлетт отвлекает наше внимание тем, что вдруг комментирует «гороскоп Франческо» из женского журнала.

– *Будьте осмотрительней с Весами, дружите с Водолеем,* – объявляет она. – Кто тут рожден под созвездием Весов, а?

Мариэтт только что схватила Катрин, самую маленькую племянницу, щекочет ее, подбрасывает вверх, и девчушка заливается смехом. Как же это случилось, что она родилась под знаком Весов? Водолей «знак воздуха», а не «знак воды», как можно было бы подумать, моими устами объявляет:

– Две пики!

Но Арлетт уже добирается до созвездия Льва. Она цитирует:

– Полное взаимопонимание с Козерогом. Ты слышишь, мамуля? Нечего смеяться, бывает так, что все сбывается.

Ну ладно, посмотрим. Мадам Гимарш, нежная львица, поглядывает на своего жирного козерога, который вдруг делает выпад:

– Три в червах!

Ох, и предал меня «знак воздуха». Стараюсь сдерживать злость, но Тио, видно, меня пожалел:

– Три пики!

И чуть потише, только для нас обоих, добавляет:

– $\Theta x = \beta (2\pi R)$.

– Чего они там шепчутся? – ворчит мосье Гимарш, подозревая плутовство.

Пустяки, папа. Это наша секретная формула: «голова икса равна бета⁹, помноженная на длину окружности». Это означает примерно: «чья-то глупость – функция окружающей среды». Сейчас буду играть пиками и не доберу одной взятки. Ринувшись с небес, из царства планет, все племя Гимаршей летит кубарем в земной ад. Мадам Гимарш, которую всякое безделье обычно угнетает, занялась подсчетами налога с оборота, а Симона включила свой крикливый электрофон.

Я открываю для себя верования моей жены, которая, оказывается, не столь уж фанатична.

Кюре разослал прихожанам конверты для очередных пожертвований на церковь. Мадам де ла Гранфьер, изысканно одетая, в перчатках, зашла к нам, чтоб взять нашу лепту. Эта дама – внучка графа (он мэр, депутат), в городе ее почитают. Я было засунул в конверт четыре кредитки по тысяче франков; Мариэтт наполовину уменьшила сумму и тут же обронила:

– Ну и трюк придумали в церковном приходе! Конечно, если является столь светская дама, то сопротивляться ей нелегко.

Она решила сама выйти к сборщице и сказала весьма решительно:

– Мы бы хотели дать больше. Но знаете, у молодой семьи...

Графиня улыбнулась. Ее миссия – внушать почтение и вытягивать деньги. Она отлично знает, что до того, как я поступил в лицей, я распевал «Слава Урбану», гимн коллежа Монгазон, где в течение трех лет я был соучеником первого vicaria в Сен-Ло. Она знает еще, что прихожане нуждаются в услугах адвоката. Пусть я не хожу в церковь, однако могу же я платить за свечи. Мариэтт такого же мнения. Но все вещи имеют свою цену.

Мариэтт все же церковь посещает. Ну, бывает там несколько раз в году. Все мы во Франции католики, согласно статистике, удовлетворяющейся тем, что она отводит какие-то проценты иудеям и протестантам. Трудно доверять этому учету – ведь всем известно, что в этой толпе едва ли наберется хоть четвертая часть верующих. Но подлинных атеистов тоже не так много. И следует откровенно признать, что их подчинение гражданской ипостаси церковных установлений, соблюдение церковных праздников, церковного календаря по-прежнему держит их в лоне христианства. А кто же мы сами в этой массе людей, которые, чтобы сохранить верность обычаям, разводят соль в святой воде, и в той же пропорции, что и в рассоле?

Что касается меня, то тут все просто. Я принадлежу к одной из тех семей, которые реже попадают в Анжу, а чаще на Юге. В таких семьях жалеют, что не бывает торжественных светских церемоний, и потому соглашаются четыре раза в жизни посещать церковь: в белом наряде – в день крещения, первого причастия и в день свадьбы; в черном – в день похорон. В семье Гимаршей все это выглядит более сложно. У них, как говорится, серединка наполовинку: кто привержен к религии, кто безразличен, кто иногда преклонит колени (желательно на бархатную скамеечку), а кто недоуменно пожмет плечами. Между членами этой семьи в таких вопросах заметная разница. Тетушка Мозе бормочет молитвы. Мадам Гимарш огорчается, что у нее «для этого нет времени». Она шпигует свое жаркое, мимоходом слушая по радио церковное пение, и нисколько не испугается, узнав, что это была протестантская служба. За этим даже скрываются некие общехристианские принципы.

– Гугеноты, на мой взгляд, гораздо разумней. И нечего было так потрошить их, чтоб потом поступать точно так же, как они, или почти так же.

⁹ Beta – по-французски кроме названия греческой буквы β , означает также: дурак, болван.

Мадам Гимарш известно равнодушие Рен и Габриэль к религии, но ей достаточно того, что у них все по правилам, что обе носят обручальные кольца и венчались в церкви. Мамуля радуется тому, что Арлетт набожна: это неплохо для молодой девушки, и многим женихам это нравится. Арлетт тянет за собой Симону и племянниц – в их возрасте спорить не полагается; вот и предстатели перед Господом и святыми угодниками, не всегда милостивыми к местной торговле. И, боже мой, что поделывать, если Туссен, Эрик и Абель, который даже перебарщивает, – люди неверующие, что с них возьмешь, ведь это мужчины.

Мариэтт, пожалуй, думает то же самое. Ее мнение по какому-либо серьезному вопросу – будь то религия или политика – узнать трудно. Ее интересуют больше вещи конкретные, чем отвлеченные, в ее репликах и отрывочных суждениях скорей ощутимы не доктрины, а эмоции. Она не будет вас заверять, что все это вполне убедительно: ну, там Юпитер и Юнона или Бог Отец и Богоматерь. Но странно, что христианская религия принадлежит исключительно мужчинам.

– От папы и до викария – одни только мужчины. Когда Церковь обсуждает наши проблемы, кого об этом спрашивают? Женщин? Никогда! Только старых холостяков в сутанах.

Единственная почесть, возданная женскому полу, почесть по-настоящему великая – это тайна воплощения Иисуса в человека благодаря Богоматери, Пресвятой Деве. Однако в прославлении девственности как особо привилегированного состояния есть что-то обидное для женщины.

– Ну скажи, почему такое отвращение ко всей этой механике, раз сам Бог ее изобрел? Они там, в Риме, плодятся и множатся, а к нам такие требования предъявляют!

И наконец, существует ад. Мариэтт, для которой Любовь была и будет бесконечной, находит, что было бы достойнее, если б и Бог никогда не уставал любить людей. А как же быть с адом? Она колеблется и вот уже становится еретичкой.

– Ну знаешь ли, ад, да еще оборотень, что бродит по ночам...

Что касается всего остального, то она вполне ортодоксальна, совесть у нее спокойна и она не будет принимать чью-то сторону. Одно дело думать, а верить в это – совсем другое. Стоит ли рисковать своей уверенностью в сегодняшнем дне ради каких-то вечных истин?! Искренность и притворство превращают древо жизни в рождественскую елку, на которой, кроме шоколадок в блестящих обертках, висят и младенцы Иисусы из леденцового сахара (причем самые неподлинные, с нежной плотью), золотые и серебряные гирлянды, звезды, шары и вечное счастье, которое обещает вам Бог.

И еще я открыл, что ее принципы экономии ставят мою экономию под удар.

Я люблю подводить итоги. От них зависит мое равновесие. Живет во мне некий бухгалтер, и он отлично уживается со служителем правосудия, эмблемой которого являются весы.

Мариэтт же считается только с реальной ценностью вещей сравнительно с их ценой. В конце концов, купить много по дешевке – значит мало расходовать. Во всяком случае, некоторые траты ей кажутся уже не расходами, а сбережениями. Покупка холодильника, например, – основа бережливости, ведь это помогает сохранить все скоропортящиеся продукты, значит, можно сразу закупить побольше по дешевой цене, к тому же экономия времени. То же самое и со стиральной машиной, вытеснившей целую флотилию плавучих прачечных на реке Мэн. Так и с пылесосом, который обрек на безработицу многих поденщиц. Такую же выгоду принес с собой телевизор, ведь он дает возможность совсем бесплатно получать любую информацию у себя дома, смотреть спектакли, фильмы, спортивные состязания. Нет денег? Ну, это теперь не имеет никакого значения! Можно сейчас же получить все, что вам угодно, а оплатить потом. У меня на примете есть фирма, дающая в кредит. Зато какую экономию предоставляет нам обладание всеми этими вещами: ведь это сокращение затрат и просто выгодно.

Я почти не преувеличиваю. И естественно, пытаюсь тормозить. Мариэтт еще не купила и четвертой части тех вещей, о которых она мечтает. Но газовое отопление – некая компания

продавала его, конечно, «за бесценок», брала лишь стоимость установки – уже освободило Мариэтт от угля. Что касается всякой хозяйственной аппаратуры, то наиболее необходимое у нее есть. И еще кое-что: сушилка для волос, вафельница, тостер, сбивалка. И не кажется ли мне, что ей нужен телевизор, хотя я счел необходимым повременить с его покупкой, так как ежемесячные выплаты уже вдвое превысили ренту, полученную Мариэтт в приданое и обеспечивающую ей душевное спокойствие.

– Вы слишком уж торопитесь! – твердит Тио.

Но мадам Гимарш была в таком восторге, что ее доченька сама перекрасила ванную комнату.

– Просто трудолюбивый муравей! – восхищалась она.

Итак, в стрекозе скрывался муравей. Доходы Гимаршей от торговли значительно превышали мои скромные заработки: они могли тратить много денег на всякого рода технические новинки или приятный летний отдых. Их дочери воспитывались, как они утверждают, «без претензий». Однако у дочек сложились свои привычки. Меня несколько беспокоит, что по брачному контракту у нас совместное владение имуществом (правда, это ограничивается лишь приобретениями, сделанными в браке). Я доволен, что настоял на одном пункте – за мной привилегия управлять имуществом. А то ведь у Гимаршей сама супруга ведает кассой, и муж без ее разрешения не может взять даже тысячу франков. Габриэль также сама выдает Эрику карманные деньги, предварительно проверив, сколько он ей принес домой в конверте. И Мариэтт, видно, надеялась, что я ей полностью передоверю денежные дела.

– А ты не хочешь, чтоб я всем этим занялась? – сразу же предложила она мне. – Тебе будет спокойней работать.

Спокойней, но под опекой. К счастью, мое положение адвоката подсказало мне необходимую реплику:

– Я просто не представляю себе, как мои клиенты будут бегать за тобой каждый раз, когда им понадобится уплатить мне гонорар.

Это моя заповедная зона. В дальнейшем я сделал вид, что не понимаю намеков мадам Гимарш на «современный принцип равноценности подписи». Потом посмотрим. Я хотел бы быть потверже в денежных делах, которые считаю не подлежащими женской власти, хотя бы ради того, чтобы не страдало самолюбие кормильца семьи. Каждому свое: состояние – мужу, звонкая монета – жене, то, что моя мать называла «договор водоема с краном» и добавляла со значением:

– Водоем опустеет, если кран подтекает.

Кран начал подтекать. Первые месяцы Мариэтт «не могла свести концы с концами». Я ей добавил еще пять кредиток, снова концы не сошлись. А моя мать довольствовалась меньшей суммой. Я попросил маму разобраться, в чем же дело. Сначала она отказалась:

– Это слишком щекотливый вопрос.

Но как-то, воспользовавшись отсутствием Мариэтт, мама осмотрела нашу кухню. Корзинка с великолепными яблоками, бифштексы из вырезки, виноград, купленный зимой (стало быть, тепличный), изобилие банок гусиного рагу с белой фасолью и других консервов, куча брошенных в мусорное ведро остатков встревожили ее гораздо больше, чем богатейший набор всякой домашней утвари, приобретенной Мариэтт. Поскольку я не обнаружил во всем этом большого греха, мама строго осудила и меня:

– Так, значит, вы оба считаете, что консервы стоят дешевле и что самое дорогое обязательно самое лучшее?

Мама удалилась, ничего больше не сказав. Я подозреваю, что она заходила на улицу Лис, чтоб повлиять на некоторые дела поделикатней – это ей свойственно. К нам заметно зачастила мадам Гимарш и особенно рассудительная Габриэль, которая умела разрешать самые сложные проблемы. Начались какие-то тайные сборища и совместные закупки на рынке. Мариэтт мне

не говорила ни о чем. Но время от времени, хотя расходы несколько уменьшились, она все же вздыхала:

– Кстати, дорогой, не мог бы ты подбросить мне еще десять тысяч франков...

Отвратительные мысли мучили меня тогда. Я думал, какая же у меня была легкая жизнь прежде, когда я был холост. Порой мне даже казалось, что содержать женщину в своем доме куда дороже, чем на стороне. И все-таки я выдал Мариэтт еще пять тысяч франков.

– Извини меня, больше не могу.

Конечно, она мечтала получить больше, но удовольствовалась и этим. Результаты оказались малоутешительными. Кое-как свели концы с концами. Говядина сменилась кониной. Вместо салата-латук покупали более дешевую зелень. Исчезло жаркое, его место заняло рагу. И все время слышался шелест добрых советов. Нас ежедневно посещали Гимарши.

1956

На этот раз виноват я. Я вернулся из суда, Мариэтт встретила меня как обычно. По крайней мере, внешне так выглядело: нам не всегда хватает чуткости разгадать выражение лица. К тому же самолюбие мое было уязвлено: мне только что сделал резкое замечание старшина адвокатского сословия за нарушение, в котором я, в сущности, совсем не был повинен.

– Все в порядке, дорогой?

– Все в порядке.

Все было отнюдь не в порядке. Но мне казалось унижительным жаловаться жене на то, что произошло в суде. И я совсем забыл спросить у нее о результатах ее посещения лаборатории Перру, куда она должна была пойти днем. Я ушел в свой кабинет, чтобы поразмыслить о том, что произошло в суде. Я вел дело по поручению суда – стало быть, бесплатно, но мать моего подзащитного прислала мне чек, которого я не просил и даже не собирался получать по нему деньги, а оставил у себя, чтоб вернуть его этой женщине: она предупредила, что зайдет ко мне, – разве можно было меня в этом упрекать всерьез? Мысли мои все еще были заняты этой историей, и за обедом я едва обратил внимание на торжественный выход Мариэтт, которая приближалась ко мне, держа на вытянутых руках вместо суповой миски огромное серебряное блюдо, обычно предназначавшееся для самых важных гостей. При ее реплике я поднял голову:

– Адвокат-стажер!

Когда я в унынии, то и других привожу в уныние. Мариэтт смотрела на меня с какой-то радостью, все значение которой я не уловил. Мне показалось это просто шутиливой выходкой. Ведь Мариэтт обожала всякие выдумки и самые необычные рецепты, хотя ее кулинарные таланты проявились совсем недавно: *пирог из моркови с шоколадом, телячий огузок а-ля король Рене, «бешеные» макаронны* (необычность чаще была в названии, чем в самом блюде). А я служил подопытным кроликом и храбро ел ее изобретения. Даже в тех случаях, когда кушанье оказывалось липкой, спекшейся, жесткой, как цемент, массой. Я все прощал, мне хотелось подбодрить ее. И вот я протянул руку и положил себе на тарелку что-то зеленое, разрезанное пополам, а затем опять сложенное вместе. Открыл. Внутри нашел яйцо «в мешочек», вставленное в авокадо вместо его косточки, а сам этот плод показался мне твердым, как капуста кочерыжка. И вилка, которую я не мог воткнуть в него, это подтвердила. И тогда болван, обруганный начальством, отругал свою кухарку:

– Но послушай же! Ты уже угощала нас этими штуками с начинкой из креветок, но тогда они были перезрелыми. А этот овощ созреет не раньше чем через десять лет. Разве ты не знаешь, что авокадо так же трудно выбрать, как и дыню? И все-таки...

– Дерьмо! – заорала Мариэтт.

Я подскочил. Что? Впервые я услышал такое слово из уст моей жены, и оно было выкрикнуто с такой убежденностью, что видно было – ничего более подходящего она не могла найти. Я вскочил ошеломленный, а разъяренная Мариэтт топала ногами и вопила:

– Да, уж выбрала себе адвокатишку! Такой хороший, такой тонкий, что и он тоже, если б не был перестарком, через десять лет, глядишь, и дозрел бы!

Ох, сколько же ярости! У меня даже дух захватило. И с внезапной прозорливостью, подобной вспышке света при коротком замыкании, я подумал: «Да что случилось? Что я ей сделал? Может, она сердится на меня потому, что я всегда молчу? Может, она считает меня притворщиком, который вьется, как уж, себе на уме и сообщает обо всем задним числом? А разве я когда-нибудь упрекал ее в том, что ей не хватает чуткости, что она ни о чем не догадывается; вот, например, сегодня вечером она даже не почувствовала, что у меня неприятности». И я пробормотал что-то невнятное:

– Послушай, дорогая, что с тобой...

Но она разошлась вовсю, у нее началась даже нервная икота.

– Ищет, как бы меня уколоть! Хотела пошутить, а этот идиот...

Она резко повернулась на своих каблуках-шпильках и, выбежав из комнаты, хлопнула дверью. Адвокат, впавший в унылое раздумье, остался один. Желток яйца, продырявленного вилкой, растекся по всей тарелке. Яйцо! Внезапно я ощутил всю семидесятикилограммовую неповоротливость своего ума. Боже мой, да я же дурак из дураков! Одним прыжком я бросился на кухню. Там, как Атала с разметающимися волосами, Мариэтт обрушивала на кухонный стол потоки слез. Я поднял ее со стула, поцеловал в затылок, начал шептать нежные слова.

– Ты понял сразу, да? – сказала она, прижавшись мокрым лицом к моему пиджаку.

Через несколько минут она уже показала мне анализ – положительный, три креста. Мне всегда казалось смешным, что именно от крольчихи получают окончательный ответ как те, кто жаждет продолжения рода, так и те – которых куда больше, – кто этого совсем не жаждет. Крольчиха... что за предзнаменование! И сколько поэзии в этом обращении к миру живой природы! И я уже вижу, как убегают эти белозадые обитательницы королевства Белоснежки, завидя зловещий шприц, полный драгоценной урины... Но Мариэтт обращает мое внимание на свою особу.

– Ну вот я и попалась! – повторяет она.

Ее опасения проявлялись уже в течение нескольких месяцев в некоторых ее жестах, в манере обнимать своих племянниц, сажать себе на колени детишек своих подруг, как будто это были такие драгоценные и редкие создания. Я как-то застал ее за разглядыванием в женском журнале «Мари-Франс» образцов вязания для грудных младенцев. Ее невинные замечания были направлены в мой адрес:

– У Габриэль уж чересчур много. И все же это лучше, чем ни одного, как у Рен. Ты заметил, какая она была грустная позавчера?

Мне же Рен показалась усталой, но вовсе не грустной. Наша красавица снова отбыла в Париж, и перед отъездом она была такой же, как всегда, с тоненькой, как у манекенщицы, талией, стянутой поясом, и полным равнодушием взглядом. Мариэтт слишком легко приписывает всем свои чаяния. И меня постигла та же участь. Для начала мне напомнили, что я последний в роду Бредото. Потом однажды вечером, когда я рассматривал наш семейный альбом, в котором я фигурировал во всех костюмах и во всех габаритах – от пятидесяти сантиметров до одного метра семидесяти сантиметров, – я услышал, как Мариэтт шепчет:

– Ты действительно хочешь, чтоб у нас был такой же, как ты?

Но подсчеты тогда не оправдались, тревожные дни завершились днями спокойными. Надо сказать, что моя клиентура к тому времени несколько увеличилась, выплата за вещи, купленные в кредит, почти закончилась и уже не было оснований откладывать. Впрочем, я был не против. Даже находил, что наши ночи стали приятней оттого, что боязнь покинула нас. И тем не менее близость наша все еще была бесплодной, что очень беспокоило Мариэтт.

– Ты считаешь это нормальным?

Меня уже начали подозревать («Ах, эти Бредото, недаром они так малочисленны!»), я стал объектом деликатных намеков, застенчивых просьб (во имя моей собственной репутации) обратиться к врачу за советом. Я поспешил в лабораторию Перру, и врач, спокойно наполнив пробирку, посмотрел содержимое под микроскопом, вызвал из приемной покрасневшую от смущения Мариэтт и подтвердил ей подвижность, плотность, высокое качество моего семени. Он меня даже поздравил, хлопнув по спине. Тогда Мариэтт в смятении, встревожив всех своих родных, хотя обычно она была сдержанна в вопросах такого характера, вместе с мамой побежала к гинекологу Лартимону. Меня немедленно заверили, скорей намекнули, что причина пустяковая: какое-то небольшое сужение, которое очень просто будет устранить. Специалист сделал свое дело. Я продолжил свое.

И вот через год, три месяца, одиннадцать дней и двадцать часов Мариэтт смогла сообщить мне радостную новость.

Жена моя полнеет. Но я должен отметить, что вокруг нее и нас обоих мир сужается.

В своей детской наивности Мариэтт захотела однажды устроить дружескую вечеринку. И вот мы составили список гостей.

И сразу же ощутили убыль друзей. Луи недавно погиб в автомобильной катастрофе; Армана назначили помощником судьи в Ниццу; Гастон, который и прежде был распутником и гулякой, стал невыносим. Николь ушла в монастырь, Мишлен на восьмом месяце беременности (от какого-то обходительного незнакомца), Одиль лечится в санатории, еще два парня и три девушки обзавелись семьями и живут в других городах – всех их тут же пришлось вычеркнуть из списка.

Мариэтт пригласит оставшихся: примерно человек двадцать.

Пятеро извинились, сказали, что быть не могут.

Двое вообще не ответили.

Пришло тринадцать, вернее, пятнадцать благодаря двум непредвиденным дамам – одна законная супруга, другая – сугубо временная.

Ну и вечеринка! Большинство гостей друг друга не знали. Не умели найти верного тона. Одни держали себя как хулиганы, другие хотели казаться светскими снобами, которые всюду скучают. Все смылись еще до полуночи, кроме «временной» четы, до того напившейся, что раздраженная Мариэтт была вынуждена уступить им свою постель, а в это время мы с Жилем подбирали окурки и осколки рюмок.

Вот тогда-то и прозвучал звон погребального колокола по друзьям нашей юности. А у Мариэтт прежде было столько подружек. Правда, если отбросить дюжину девиц, с которыми она виделась, порой звонила им по телефону, при встрече целовала в обе щеки и приглашала к нам («Надо бы повидаться, ты позвонишь мне?») и которые, повернувшись на каблуках, тут же исчезали в толпе, то подлинных подруг у нее было лишь три: Матильда, любившая писать ей доверительные письма, она жила в Шоле, но иногда, приехав в Анже, врывалась к нам как вихрь; Эмили Даноре – жена одного из моих коллег, эта обычно являлась днем и таскала Мариэтт по магазинам; Франсуаза Турс, симпатичная толстушка, которая за два года дважды разбухала с помощью крохотного муженька, худого и злобного, как оса, однако избегать его нам было трудно: к несчастью, он являлся начальником отдела, в котором служил Эрик.

С моей стороны было не меньше потерь. Настоящих приятелей – не просто знакомых – я мог бы пересчитать теперь по пальцам одной руки, может, и того меньше. Холостяки полагали, что я выбыл из их компании. У других были несговорчивые подруги, не стремившиеся подружиться с нами. Третьи выбрали себе в жены чванных, вздорных бабенок, которым было плевать на семейные вечеринки. Некоторых не переносила и сама Мариэтт. *Родителей дает всегда судьба, зато друзей мы сами выбираем.* Увы, дорогой Делиль! Не мы выбираем жен для своих друзей и не они для нас, и, поскольку из четырех знакомых между собой дам каждая осуждает трех остальных, существует лишь один шанс из дюжины, что все будут друг друга обожать, поэтому сразу видишь, что тебе нужно спасать. Я такой же, как и все; я тоже здоровуюсь со своими товарищами на улице и прохожу мимо. По-настоящему у меня остался только один друг – Жиль Рей, который был шафером на моей свадьбе; это его козырь в глазах Мариэтт, да еще она жалеет его за то, что у Жилия искривленная ступня.

Отныне мы принимаем у себя обладателей судейской мантии, адвокатской тоги, военного кепи, а также деловую публику, которая как-то сама собой подобралась из числа коммерсантов средней руки. И все они молодожены. По самой сущности своей молодая чета представляет

собой единое целое, но из двух долек, как грецкий орех, и это сближает молодые пары. Обычно они знакомятся друг с другом в домах других молодоженов, где их принимают, принадлежат к одному и тому же кругу, и это называется общностью интересов. Так, к нам зачастили чета Даноре, чета Турс, уже упомянутая Дюбрей (помощник прокурора с женой), Жальбре (судья-адьюнкт и его супруга), Дагесо (секретарь префектуры с женой), Гарнье (лейтенант с супругой), Омбуры (владельцы отеля), которых мы встречали в других домах. Бывают они у нас в среднем раз в месяц. И этого достаточно. Все они милейшие люди, которые на самом деле не так уж милы, умеющие вежливо избегать запретных тем. Это «полезные друзья», как говорит Мариэтт.

В чем полезные, это пока не ясно. В том, чтобы уверить нас, что могут быть полезными. Окружить нас себе подобными. В том, чтобы продемонстрировать, что все на свете состоит из пар, все обязательно парное, как, например, глаза, у которых, однако, взгляд один. В том, чтобы научить нас, что этот взгляд должен заставлять многих опускать глаза.

Ибо чего только не обнаружишь, когда благодаря им смещаются точки зрения. Сначала наши гости говорят о своих милых крошках. И Мариэтт слушает, глаза ее блестят, даже если речь идет о насморке или желудочных коликах. Потом толкуют о своих делишках.

– Кстати, Бретодо, – говорит помощник прокурора, – вы взялись защищать Лормеря? Грязное дело, старина. Статья 824...

Не преминут поговорить и о деньгах. Не забудут и обеденного меню, в которое входила паэлья, весьма модное блюдо с тех пор, как столько людей проводит свой отпуск в Испании. Перечислят и свои покупки: у всех точно такие же, как у нас, до того все одинаково, будто все эти вещи и хозяйственные агрегаты стащили из нашего дома. Снова речь возвращается к заработкам или к жратве. Затем вино оказывает свое действие, и все эти благонравные господа, жены которых, садясь, целомудренно натягивают на коленки свои короткие юбки, вдруг за десертом с удовольствием кидаются на «клубничку», угощая друг друга пикантными сплетнями об адьюнкте, нашем очередном весьма покладистом рогоносце, который единодушно был недавно избран первым пьяницей.

А после этих разговоров гости смываются как раз вовремя. Семейные люди рано ложатся. Я вспоминаю о совсем недавних ораторских дебатах на конференции стажеров (тема моего выступления была: *Полицейский комиссар официально констатирует факт адольтера. Он доводит виденное до сведения суда, сообщив все то, чему он был очевидцем. Должен ли он дополнительно обвинить виновных в оскорблении общественной нравственности, если они продолжали в его присутствии заниматься тем, что он был обязан констатировать?*). Ох, кажется, мне не до смеха! Особенно когда я припоминаю наши студенческие бурные споры, наши яростные дискуссии в облаках табачного дыма, ведь сколько важнейших мировых проблем мы обсуждали, споры не затихали до самого рассвета, а потом мы, горячие головы, расходились, унося в сердце гордый гнев или сочувствие. А теперь я ощущаю, что утратил неистовость. С тех пор как Мариэтт появилась в моей жизни, даже Жиль вынужден выражать свои мысли иначе, чем прежде. Слишком многое остается за кругом, очерченным женскими объяснениями.

Добросовестнее готовиться к предстоящему материнству было бы просто невозможно.

Что явилось тому причиной? Врожденное прилежание, сознание, что исполнилась заветная мечта, воздействие гормонов – да, и это еще не все. Если выразиться в философическом стиле, возникла страсть к тому, что еще вынашивалось под сердцем и что теперь формировало все ее помыслы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.